

Людмила  
Уварова  
Облачно, с  
просненими

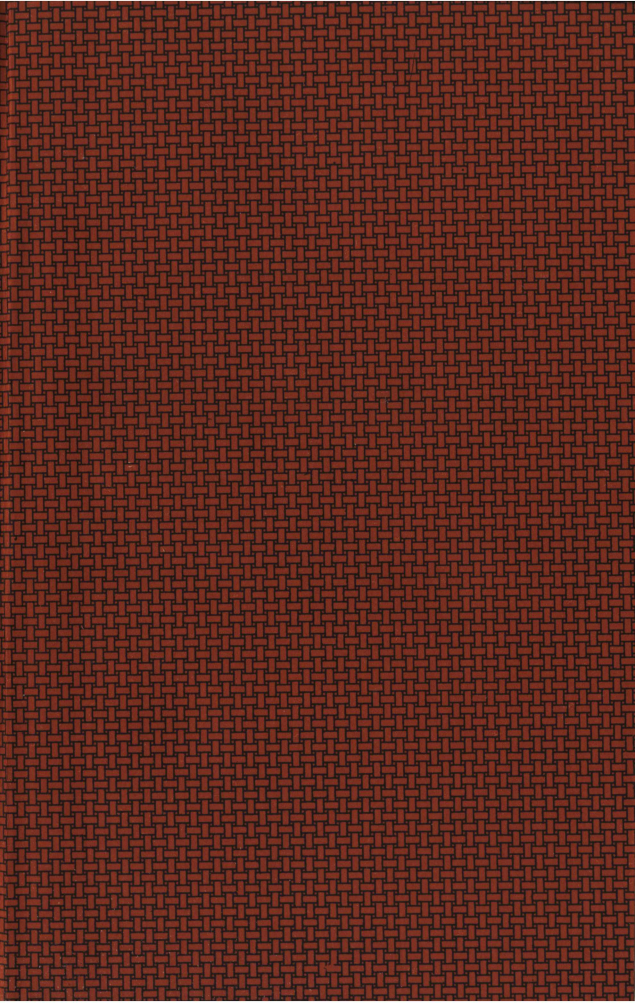
А

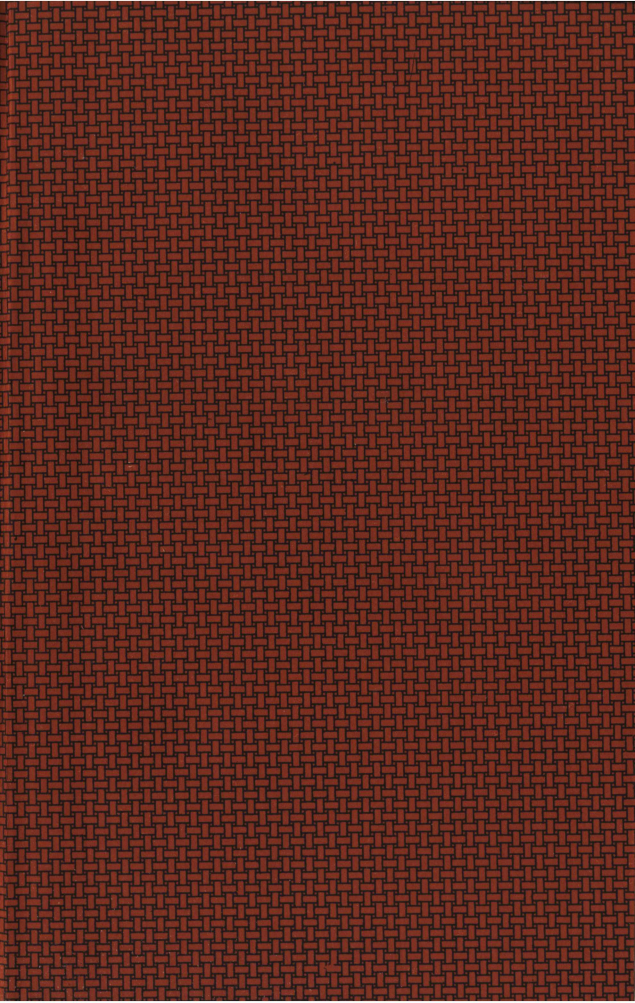


45 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“







Людмила  
Уварова



Облачно, с  
прояснениями

РАССКАЗЫ

Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981

*Оформление В. Медведева*

**Уварова Л. З.**

**У18**      Облачно, с прояснениями: Рассказы/ Оформл.  
В. Медведева.— М.: Дет. лит., 1981. 175 с., ил.

В пер.: 45 к.

Рассказы о наших современниках. Авторское внимание привлекают детские и юношеские судьбы и характеры, морально-этические проблемы.

У  $\frac{70803-259}{M101(03)81} 276-81$

P2

© Рассказы «Срок давности», «Брат и сестра».  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.  
Рассказы, охраняемые другими издательствами,  
отмечены в содержании.

## Встреча

**Б**ыло холодно, дул острый, по-весеннему колющий ветер, и лужи, которые остались от вчерашнего дождя, покрылись мелкой дрожащей рябью; в просветах неба, хмурого, предвещавшего новый дождь, может быть, еще более густой и щедрый, чем вчерашний, мелькало изредка что-то голубое, робко светлеющее, но тут же его заглатывали сердитые тучи, ветер становился словно бы еще злее, а небо еще сумрачней.

Я шла по дорожке, ведущей от входа в парк Сокольники к пруду. Безлюдные аллеи казались нахохлившимися, тоскующими, как бы напрочь утратившими веру в весну, в солнце, в теплые дни, за которыми неминуемо следуют тихие вечера с прохладным, погребным запахом нагретой за день и медленно остывающей зелени, с постепенно гаснущим закатом, с веселым роем пляшущей мошкары — предвестником доброй погоды на завтра...

Изредка мне попадались прохожие, они поспешно шагали, торопясь опередить грозивший вот-вот разразиться дождь.



Я шла все дальше, в глубь парка, вбирая в себя приметы жизни, которой необратимо суждено обернуться когда-нибудь далеким прошлым.

Навстречу шел высокий, немного сутуловатый старик в длинном черном пальто, на голове черная же шляпа, похожая на летучую мышь.

Через плечо у него висел транзистор, на длинном ремне, чуть склонив голову набок, он слушал негромкую музыку, которая неслась из транзистора. Обгоняя меня, он нажал кнопку, музыка стала громче, а он сел на ближайшую скамейку.

Весь вид его являл собой настолько странное, необычное зрелище — пальто, сшитое по моде, ставшей уже старинной, с подкладными плечами и хлястиком на спине, черная шляпа, низко надвинутая на уши, транзистор через плечо, — что я не выдержала и тоже села с ним рядом на ту же скамейку. Он и головы не повернул в мою сторону, захваченный музыкой.

Это был «Славянский танец» Дворжака. Печальные, но в то же время исполненные скромного, затаенного торжества звуки раздавались в пустынной аллее и казались продолжением притихших деревьев с ветками, полными набухших, готовых к цветению почек, самого этого низко нависшего неба, быстрых, стремительных туч, бегущих друг за другом.

Из-за угла показались дети, должно быть, первокурсники или второклассники. Их было не более десяти, они шли гуськом, оставляя четкие маленькие следы на песке дорожки. Они прошли мимо, рассеянно и равнодушно скользнув взглядом по моему лицу, по лицу моего соседа и смеясь чему-то своему, для них интересному и важному.

Один из ребят, круглоголовый, румяный, среди тугих щек зажат плоский носишко, обернулся, глянул на меня, потом еще раз обернулся и снова глянул, словно размышляя, кто же я. Но, не признав, не ответив на свой вопрос, мгновенно позабыл обо мне и побежал за товарищами, размахивая по ходу руками.

На миг я отразилась в цепких, блестящих глазах мальчика, впитывающих в себя все, что было вокруг, и тут же бесследно исчезла из орбиты его видения, из самой его жизни...

Уже никогда он не вспомнит меня, случайно встреченную им в Сокольниках в ненастный день, скорее припомнит облако в вышине, легко меняющее форму, то похожее на верблюда, то на чашку с отломанной ручкой, то на голову старушки, или запомнится воробей, пролетавший в этот миг над скамейкой, на которой сидела я, его серые нежные перья, простенькая головка, круглый, настороженно поблескивающий глаз.

А я навсегда скроюсь для него, но, может быть, когда-нибудь, когда след мой давно уже пройдет, истлеет на земле, он внезапно, неизвестно почему, вспомнит меня, некогда встретившуюся ему в Сокольниках, на миг озадачив чем-то его юную, прелестную жизнь, и будет думать, вспоминать, чем же я впечатлила его, почему он вспомнил меня и никак не может отстраниться, забыть, начисто стереть в своей памяти...

Может случиться и так, что он, уже взрослый, многое постигший, многое знающий, ненадолго пожалеет, почему не взгляделся в меня тогда, не подошел ближе, не сумел распознать в этом таком уже далеком прошлом облик своего будущего.

Так думала я, машинально слушая музыку. Теперь уже «Славянский танец» сменили песни времен Великой Отечественной войны: «Давай закурим», «Землянка», «Синий платочек».

Искоса я время от времени посматривала на старика. Ведь по себе знаю: музыка способна разбудить в душе многие чувства, даже и такие, которые сам давным-давно считал похороненными, навсегда сгинувшими.

Однако он слушал песни, сменявшие друг друга, с одинаковым надменно-невозмутимым выражением лица; четко рисовался его профиль — прямой, с мясистыми ноздрями нос, тяжелые веки, полуприкрывающие глаза, небрежно выбритая щека. И только ухо, небольшое, аккуратно вылепленное, розовато просвечивавшее, казалось неожиданно молодым, решительно не подходящим ему, как бы взятым у кого-то другого.

Я понимала, он чувствует мой взгляд: щека его чуть заметно дергалась и ухо постепенно наливалось розовым, густым цветом. А я все глядела, не могла оторваться, потому что в рисунке щеки, в сжатых губах неширокого и неяркого рта, в усталом взгляде, минующем меня,

устремленном куда-то далеко, чудилось что-то знакомое, что-то уже не раз виденное.

Я напрягла память и узнала его. Да, я видела его каждый день, иногда и по нескольку раз в день. В ту пору он был много моложе, не мудрено — ведь прошло столько лет, как мы не встречались, добрых и недобрых, всяких, а всего-то тридцать с гаком. У него тогда были темные, очень густые волосы и почти ни одной морщины и глаза не усталые, не притушенные, как теперь, а ясные, открытые, быстрые.

И чем дольше я глядела на него, тем более отчетливо, более зримо, будто не прошли все эти годы, вспоминала его. Я знала: когда он начинает говорить, то сперва взмахнет ладонью, как бы в подтверждение своих слов, и будет глядеть прямо в глаза и часто встряхивать головой. Волнуясь, он прикусит нижнюю губу зубами, и глаза у него станут темными, а задумавшись, станет долго, рассеянно потирать ладони одна о другую и напевать что-то про себя.

Как же я не узнала его сразу, как только увидела? Почему? Ведь его забывать мне нельзя. Никогда, ни за что нельзя его забывать...

Он повернулся, спросил серьезно, как бы заранее ожидая мой ответ:

— Наверно, вам мешает музыка?

И голос его остался тот же, с хрипотцой, как у заядлого курильщика, хотя, кажется, он не курил; я тут же вспомнила, как смазанно, неясно он произносил «л», а слова, в которых буква «р», немного раскатисто, словно бы в них не одно, а два или даже целых три «р».

— Простите,— повторил он,— я спросил, вам, должно быть, мешает музыка?

Так и есть! Неясное «л», раскатистое «р» и улыбка та же, чуть застенчивая, словно он робеет, не зная, ответят ли на его улыбку.

Все эти годы он так часто представлялся мне и я мысленно говорила с ним и слушала его; он раз и навсегда врезался в мою память, в мою душу, и я была уверена, что он останется со мной до самого моего конца.

Я глянула на его руки, я тоже узнала их — широкие ладони, крепкие, не по-стариковски гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Помнится, они гладили меня

по голове, его руки, вынимали градусник из моей подмыш-ки, давали мне лекарство — таблетки веселого розового цвета — и вытирали мне рот, когда я пила молоко, и протягивали мне конфету, и сажали меня на кровать так, чтобы мне было удобно.

Однажды его руки приподняли меня из кровати и понесли, и кто-то другой, я забыла — кто, сложил мою кровать, она была складная, специально приспособленная для таких детей, как я, и тоже понес ее. И потом он положил меня в кровать, погладил по голове, улыбнулся — впервые у него улыбались одни лишь губы, а глаза оставались строгими и печальными — и сказал торопливо:

«Не бойся, я сейчас приду».

Накрыл меня марлевым пологом, чтобы комары не кусали, и ушел и опять пришел и еще кого-то принес на руках.

Было это в лесу. В вышине гудело и грохотало, позднее нам сказали, это были фашистские самолеты; они хотели убить всех ребят, а он не дал, он вынес нас из дома, да, наверное, не он один, просто я не помню больше никого, и отнес в лес, и там в лесу было, должно быть, все-таки спокойней, чем в доме...

Его звали Алексей Кондратьевич, а мы его звали дядя Лека.

Я повернулась к нему и сказала:

— Ну, здравствуйте, дядя Лека!

Он вздрогнул, снял шляпу — как же у него поседели волосы, совсем белые стали! — провел ладонью по волосам, прикусил нижнюю губу.

— А вы... вы кто? — спросил он.

Пальцы его между тем нажали кнопку транзистора, и музыка умолкла.

Я назвала себя.

— Помните меня?

Я предвидела его ответ. Что ж, ничего удивительного, столько лет пробежало, и я, надо думать, изменилась.

— К тому же нас там было что-то около ста, — сказала я.

— Сто одиннадцать, — сказал он.

— А я все помню, — сказала я. — Помню, как вынесли меня в лес, чтобы укрыть там от налетов, и всех остальных

ных ребят тоже вынесли в лес, только не помню, кто нес наши кровати.

— Истопник Сережа, на протезе, безногий, потом санитарка Настя и молодые врачи Вадим и Миша.

— Никого я не помню,— сказала я.— Только одну женщину хорошо запомнила, она была толстая и вокруг головы коса, и она в лесу давала нам молоко. Мы пили тогда прямо из бутылок.

— Это была диетсестра Капа.

— Как-то она рассердилась на меня, сказала: «Вот лышенько мне досталось!..»

Он улыбнулся:

— Вас было много, она одна, иной раз терпения не хватало.

— А почему же у вас всегда хватало терпения на всех нас?

— Разве? Да нет, должно быть, тоже случалось, срывался...

— Нет,— сказала я.— Чего не было, того не было, вы ни разу ни на кого не повысили голоса. Ни одного раза! Он смотрел на меня, сдвинув брови.

— Как, вспомнили? — спросила я.

Он снова прикусил нижнюю губу, глаза его потемнели.

— Скажи, у тебя была сестренка? Да?

— Была,— ответила я.— Нина, помните? Она приезжала с мамой ко мне из Ленинграда.

— Однажды она привезла тебе «Мойдодыр» Чуковского.

— Верно. И я обычно прятала «Мойдодыр» под подушкой.

— И тогда, когда тебя принесли в лес, ты взяла с собой «Мойдодыр».

— Так вы же все помните! — воскликнула я.— Вы же ничего не позабыли!

— Какой был страшный налет тогда! — сказал он.— Над нашим домом висел флаг с красным крестом, и на крыше мы, врачи, вывели камнями: «Детский костно-туберкулезный санаторий», а фашистские летчики сбросили на эту самую крышу столько зажигалок!

— И вы их тушили? — спросила я.

— Нет, я был в лесу, их тушили другие врачи...

— А где тетя Капа? — спросила я.

— Живет под Челябинском; и Сережа жив, он в Москве, а Настя умерла. Миша позднее пошел на фронт, погиб в боях за Ростов, а Вадим жив. Хочешь его видеть?

— Хочу, хотя смутно помню его.

— Увидишь — вспомнишь, вот так, как я тебя вспомнил.

— Ну, не сразу...

— Что же ты хочешь? Как ни говори, годы.

— Зато я вас сразу узнала, несмотря ни на какие годы.

— Ты моложе, у тебя глаза острее.

— У вас на все готовый ответ,— засмеялась я.

— Мы встречаемся каждый год здесь, в Сокольниках, возле пруда, в День Победы,— сказал он.— Те, кто остался жив, кто в это время здесь, в Москве.

— Я тоже приду,— сказала я.— Можно?

Вместо ответа он поднял руку, провел ею по моей голове. Вдруг почудилось, не было всех этих лет, не было последующей жизни, мы снова вернулись назад, в те первые дни войны, и я, маленькая, беспомощная, но крепко-накрепко защищенная от злых людей, от комаров, от самого неба, ставшего внезапно страшным, прижимаюсь к его плечу, а он бережно держит меня на своих руках, и пахнет от него знакомым надежным запахом — йодом, землей, хвоей, ведь мы в сосновом лесу, может быть, поэтому сильнее всего запах хвои, и он глядит на меня глазами, которые из всех сил стремятся быть веселыми, а это им не очень-то удастся, и говорит своим характерным говором — с неясной буквой «л» и раскатистым просторным «р»:

«Не бойся, милая, все будет хорошо, все будет хорошо».

Чем отплатить мне за его бесценную доброту, за непоказное стремление сохранить мою жизнь, сберечь меня, успокоить и защитить? Какие отыскать слова, чтобы он понял: я никогда не забывала его, я буду постоянно, пока жива, любить его и стараться воздать ему добром за добро, за жизнь, которую он заново подарил мне...

Мимо пробежал давешний мальчик, снисходительно оглядел нас и опять убежал по каким-то своим, никому, кроме него, не ведомым делам. Мы проводили его взглядом. И дядя Лека сказал:

— Ты была тогда вроде бы такая же, не правда ли?  
Я кивнула.

Он снова погладил меня по голове, улыбнулся. А я заплакала.

Помню, я не плакала тогда, когда он спас меня, унеся в лес, под прикрытые деревья. И позднее не плакала, когда нас, всех сто одиннадцать детей, посадили в вагоны и отвезли на восток, в Сибирь.

И дядя Лека стоял на перроне и говорил что-то, что, уже и не вспомнить, а мы уезжали с другими врачами, была глубокая осень, кажется, кто-то заплакал, а я нет, не плакала.

А сейчас не сумела совладать с собой. Слезы лились из моих глаз, я всхлипывала и, словно маленькая, крепко держала его за руку обеими ладонями, и он не утешал, не уговаривал, смотрел на меня молча и, подобно мне, должно быть, не чувствовал, как время от времени каплет сверху на нас редкий дождь, который, наверное, еще немного — и разыграется вовсю...

## Отчим

Примерно два раза в неделю я ездила навестить бабушку. Трамвай номер десять вез меня через весь город к Калужской площади; синим саблевым блеском отсвечивали рельсы, звенел звонок вагоновожатого, на остановках всё новые пассажиры, шумя и толкаясь, вливались в вагон, в то время как другие пассажиры продирались к выходу.

Если удавалось захватить место у окна, я блаженствовала, ленивым, скучающим взглядом окидывая всех тех, кто теснился возле меня.

Большей частью мне в голову приходили одни и те же мысли — об отчине. Моя мама любила его и верила ему, а он изменял ей, я это знала. И знала также, что, предавая маму, он все же не хочет потерять ее и боится, ненавидит меня.

Было мне в ту пору четырнадцать лет, и, хотя я отличалась доверчивостью, присущей такому возрасту, я в то же время была наблюдательна. Инстинкт заменял мне

опыт, я бессознательно чувствовала — надо молчать и только молчать.

До сих пор не могу не удивляться собственной неожиданной для самой себя выдержке, каменному своему молчанию.

Я желала лишь одного: чтобы мама ничего не узнала, потому что своим маленьким уязвленным сердцем, уязвленным оттого, что я страдала, не могла не страдать за маму, я понимала — мама не выдержит, рухнет.

А отчим не верил мне, моему молчанию. И, будучи от природы подлым, полагал, что в конце концов я предам его. Ведь мы, люди, обычно судим о других по себе.

Мне нелегко жилось дома, потому я с особенной охотой ездила к бабушке. Она и дедушка обитали в двухэтажном особняке, неподалеку от Калужской площади, на Коровьем валу. У них были две небольшие, всегда жарко натопленные комнаты, на кухне русская печь с лежанкой, на подоконниках цветы — азалия в горшке, мальва и герань.

Едва я войду в дверь, как бабушка уже лезет за круглое настенное зеркало: там хранились журналы, которые бабушка специально покупала для меня: «Вокруг света», «Мир приключений», «Чудак» и «Бегемот».

— Вот, читай! — скажет бабушка, и милое синеглазое лицо ее светлеет от улыбки.

Я сажусь за стол, а она проворно и ловко суетится, ходит из кухни в комнату; вот уже звенят на столе чашки, появился свежий, только-только из печки яблочный пирог с верхушкой-клеточкой, шумит самовар, вьется пар над чашками. Как тепло, как уютно в бабушкином доме! Здесь легко дышится, здесь меня любят и радуются, когда я приезжаю.

Я пью чай из своей любимой розовой, в горошек чашки, а бабушка тем временем заводит патефон. Патефон переделан из древнего граммофона дедушкиными золотыми руками, потому, наверное, его надо долго заводить.

Почему-то он напоминает мне старинный телефон, который иной раз приходится видеть в кинокартинах; там тоже имеется ручка, и ее следует настойчиво крутить до отказа, пока не ответит телефонистка.

Больше всего я люблю слушать цыганские романсы в исполнении Тамары Церетелли. У нее низкий, почти



мужской голос, иногда голос ее звучит сильно и громко, иногда замирает до шепота.

Особенно мне нравится романс «Дорогой длинною». Медленно, спокойно Тамара Церетелли начинает:

Ехали на тройке с бубенцами,  
А вдали горели огоньки...

Потом голос ее разрастается, ширится, набирает силу. Она поет:

Дорогой длинною, погодой лунною  
Да с песней той, что вдаль летит, звеня,  
Да с той старинною, с той семиструнною...

А в конце уже тихо-тихо, чуть ли не шепотом:

Дорогой длинною, погодой лунною...

Я представляю себе Тамару Церетелли очень высокой, царственно красивой, этакой королевой с орлиным взглядом и плавной поступью.

— Да нет,— улыбается бабушка.— Я ее как-то видела на Воробьевых горах. Мне ее показали, маленькая такая, толстая, волосы черные и седая прядь над самым лбом...

Наслушавшись всласть, я беру журналы, лезу на печку, там дедушка приспособил лампочку на шнуре, и лежу, читаю в тепле, потом засыпаю и сплю до утра, до того часа, когда бабушка начинает меня будить, а я зарываюсь головой в подушку и мычу с закрытыми глазами:

— Сейчас... Сию минуту...

Бабушка стаскивает с меня одеяло, а дедушка бреется, стоя перед зеркалом, и укоризненно качает головой:

— Ей, наверно, снится, что она в деревне...

— Наверно,— соглашается бабушка.— Где же еще можно на печке спать?

— Сейчас заберусь и за ноги стащу,— грозит дедушка.

Дедушка мой человек примечательный. Помню, прочитала я рассказ Лескова «Левша» и сразу тогда подумала: точь-в-точь дедушка. Он умел решительно все: чинить, строить, ремонтировать, даже, кажется, шить и вышивать и наверняка сумел бы подковать блоху не

хуже знаменитого Левши. Что бы у кого из соседей ни случилось — засорился ли дымоход, погасло ли ни с того ни с сего электричество, сломался велосипед, не действует водопровод, провалились доски пола, развалилась собачья конура, протекает крыша,— со всеми бедами шли к дедушке, и он никогда никому не отказывал.

Дедушка работал слесарем в мастерской на бегах.

Иные удивлялись, он мог бы устроиться куда лучше, выгодней для себя, но дедушка не хотел уходить: он любил лошадей, и потому с радостью ходил каждый день на работу на бега.

Бывало, придет домой веселый, карие глаза походят на две запятые, морщинки разбежались от висков.

— Что? — спросит бабушка.— Победа?

— Еще какая!

Дедушкин голос звучит ликующе.

— Как я и говорил, Сильва пришла первой и в дубле и в ординаре. Стало быть, следует пропустить баночку за Сильвину победу.

В торжественный день дедушка не забывал выпить рюмку-другую.

Зато каким удрученным, поникшим возвращался он с работы тогда, когда любимая его лошадь проигрывала!

Бабушка, хорошо изучившая его за полвека совместной жизни, ни о чем не расспрашивала, понимая все как есть с одного взгляда.

Дедушка ложился на кровать, лицом к стене, но не спал, протяжно вздыхая. Наконец, не выдержав, поворачивался на другой бок, окликал бабушку:

— Ты где, старуха?

— Вот она я,— отвечала бабушка.

— Плохо дело,— говорил дедушка.— Маргаритка дала сбой, и Тюльпан подвел, оба сразу...

Бабушка сочувственно качала головой, потом спрашивала:

— Хочешь чайку горяченького?

— Тебе бы только чайку! — ворчливо отвечал дедушка.— Вселенское лекарство — чаек горяченький!

Однако, покряхтев и поворчав, садился за стол, долго, с удовольствием пил чай, а после подробно рассказывал, как и почему Маргаритка, кобыла чистейших кровей, дала сбой и подвел непобедимый орловец Тюльпан.

К слову, дедушка никогда не играл на бегах. Когда-то, тому уже много лет, поставил он на какого-то фаворита, которому все предсказывали победу, и... проиграл. Фаворит пришел пятым.

На дедушку это поражение так подействовало, что он даже заболел. Дедушка не был жадным, он вообще не придавал значения деньгам, финансами в их доме заправляла бабушка, отменная, экономная хозяйка. Но он от природы был так задуман, что не любил проигрывать, даже в лото.

С того дня дедушка уже никогда и рубля не поставил ни на одну лошадь, хотя случалось, его подбивали друзья-приятели, да и сам понимал — одна ставка может принести немалый выигрыш, и все-таки держался, стоял на своем.

— Я лошадей не из корысти люблю, — говорил.

Бабушка была умнее дедушки, но старалась не показывать своего превосходства. Напротив, часто спрашивала у него какого-либо совета, хотя привыкла сама все решать и, конечно же, поступала так, как ей того хотелось, но дедушке говорила:

— Все сделано по-твоему. Разве не видишь?

И дедушка соглашался с нею:

— Разумеется, вижу.

От дедушки обычно скрывалось то, что могло бы как-то омрачить его.

— Он слабый, — говорила бабушка. — Ломкий, одним словом.

Теперь, спустя годы, я думаю, что бабушка ошибалась, не такой уж он был слабый и ломкий.

Но так повелось в семье: бабушка все трудности охотно взваливала на свои плечи, оберегая дедушку, и потому дедушка постоянно был уверен, что все хорошо и в его семье, и в семье дочери — моей мамы.

А бабушка, та знала многое, если не все, но не говорила о том никому.

Лишь спустя несколько лет я как-то разговорилась с бабушкой. Я уже окончила институт, начала преподавать немецкий язык в школе. Бабушка к тому времени жила одна, дедушка лет пять как умер.

Бабушка тогда сильно сдала, но голова по-прежнему оставалась светлой. Я приходила к ней, и бабушкины

глаза неизменно радовались мне. С трудом, упираясь руками, она вставала со стула:

— Будешь чай пить?

До сих пор помню... Сидим мы с бабушкой за столом. Горячие оладьи со сметаной, только-только из печки, соленые огурчики, маринованные опята, и над всей этой вкуснотой шумит, пытит, исходит паром старинный самовар, памятный мне с раннего детства. Бабушка, улыбаясь, глядит на меня, а я улетаю все подряд — оладьи со сметаной, огурчики, грибы, пью чашку за чашкой хорошо заваренный чай (почему из самовара чай вкуснее?), облизываю с ложечки земляничное, любимое бабушкино варенье.

Как начался тогда у нас разговор о самом горьком и сокровенном, теперь и не вспомнить. Помню только, как бабушка сказала:

— Это же дело прошлое, к чему ворошить?

Я сказала:

— Не могу ничего забыть.

— Надо,— строго наставительно произнесла бабушка.

Однако мне показалось, в голосе ее нет жесткой, обдуманной уверенности.

— Почему надо? — спросила я.

Она промолчала. Лицо ее на миг страдальчески сморщилось.

Я поняла: и ее это грызло, так же как и меня, грызло, жгло, точило, не давая покоя.

И тогда я не выдержала. Нелегко, совсем нелегко дались мне долгие годы упрямого молчания, ставшая привычной боязнь, чтобы не дошло до мамы, чтобы она ненароком не догадалась, не узнала, не почувала...

Слова слетали с моих губ, жестокие, неистовые, отчаянные. Я проклинала отчима, который в ту пору был уже мертв, проклинала негодяйку, с которой он обманывал маму, слезы душили меня, я кричала на бабушку:

— Можешь ли ты понять, чего мне это все стоило? Ведь когда началась вся эта грязь, мне не было четырнадцати...

Внезапно я оборвала себя. По бабушкиным щекам лились слезы. Они лились одна за другой, неслышно, тихо, словно бы помимо ее воли, так вот, сами по себе.

— Бабушка!

Я прижалась горячей щекой к ее руке, а она молчала, и только слезы катились из ее глаз, смотревших куда-то поверх моей головы.

— Успокоилась? — спросила она наконец.

Я крепко-накрепко вытерла платком пылающее лицо.

— Мама часто вспоминает о нем, говорит, какой он был хороший, а я не могу это слышать...

— Надо мочь,— почти шепотом произнесла бабушка.

— Я молчала столько лет! — воскликнула я.

— И что же? Теперь хочешь сказать?

Сказать? Нет, я и теперь, когда отчима уже не было в живых, не хотела бы омрачить мамину веру в него.

— Я не могу видеть, как она ездит на кладбище,— сказала я.

Бабушка все так же наставительно повторила:

— Надо мочь.

Да, она была права, я это понимала. Надо мочь. Ради мамы, ради ее спокойствия, ради ее душевного мира.

Потом я спросила:

— Бабушка, выходит, ты знала?

Она помедлила немного.

— Знала.

Глаза ее потемнели. Знакомым с давних пор жестом она обеими ладонями провела по глазам, как бы стремясь хорошенько протереть их.

— Так вот, помни, Ляля, маме ни слова. Поняла?

Я кивнула.

Дома мама ждала меня с ужином. Она никогда не садилась за стол, если меня не было.

Она вязала мне лыжную шапочку, черную с красной каймой. Длинные мамины пальцы проворно и легко двигались. На стене, над маминой головой, висел портрет отчима, я словно бы впервые увидела узкие, глубоко посаженные глаза, щеточку усов над маленьким, почти женским ртом, налитые брыластые щеки.

«Какой у него лживый рот»,— подумала я.

И снова вспомнились мне мучительные дни прошлого, когда я все видела, все знала и ничего не могла сказать. Ни одного слова.

...Она поселилась в нашей квартире однажды летом, когда освободилась комната при кухне — умерла одинокая старушка, которую весь дом звал одинаково: тетя Груша.

Аглая была портниха. Это мы, ребята, населявшие нашу большую, длиннокоридорную «коммуналку», поняли сразу, потому что сперва грузчики перевезли швейную машинку, потом грудастый и бедрастый манекен табачного цвета и еще множество связанных вместе журналов мод за примерно пятнадцать последних лет.

И еще — всевозможные чемоданы, корзинки, баулы и узлы.

С манекеном произошла забавная история. Его поставили в коридоре возле ванной комнаты. И надо же было случиться, что пятилетнему Гоге, самому маленькому нашему жильцу, вдруг захотелось пойти в ванную. Признаться, подобные желания возникали у Гоги не столь уж часто. Гога побежал по коридору, громко распевая какую-то им самим придуманную песню, и... внезапно раздался оглушительный визг, а затем плач.

Оказалось, Гога принял манекен за живого, но почему-то неподвижного, странно безмолвного человека, и этот неведомый молчун до того напугал его, что еще долгое время Гога не без боязни проходил мимо ванной, хотя ему, как и всем нам, было ясно, что это самый обыкновенный, сделанный то ли из картона, то ли еще из чего портняжный манекен, на котором обычно меряют платья, блузки и юбки.

Аглая была невысокого роста, с грубыми, словно бы кое-как слепленными чертами лица, жидкие ее волосы были подстрижены в кружок, по тогдашней моде, губы неумело покрашены темно-брусничной помадой.

Она была некрасива и, должно быть, сознавая свою непривлекательность, не ждала от жизни никаких особых радостей. К тому же еще она обладала недобрым, завистливым характером.

Наши жильцы встретили ее враждебно, только головами качали, подсчитывая, сколько вещей оказалось у этой невзрачной на вид бабенки.

И только мама, осторожно постучав к ней в дверь, спросила:

— Хотите чаю?

— Хочу, — ответила Аглая.

Она вошла в нашу комнату, скромненько села на самый кончик стула, восхищенно огляделась вокруг:

— Как у вас хорошо!

У нас была старинная, немодная в ту пору мебель, громоздкая и не очень удобная: массивный буфет мореного дуба с выпиленными в самых неожиданных местах виноградными кистями, яблоками и грушами; нередко, открывая дверцу буфета, я больно ушибала руку об это самое деревянное яблоко или царапала лицо о виноградную гроздь; широкая кровать с высокой спинкой, бронзовая, вся в стекляшках люстра, похожая на опрокинутый вверх колокол.

Но благодаря маминым стараниям у нас было очень чисто, мама постоянно протирала всю эту мебель, которая, как я теперь понимаю, была достаточно уютным вместилищем пыли, на окне стояли горшки с цветами, мама, как и бабушка, любила цветы.

Аглая допивала вторую чашку, когда явился отчим, сухо кивнул Аглае — он не любил, приходя с работы, встречать в доме чужих людей — и, взяв полотенце, пошел в ванную мыть руки.

Вскоре он вернулся.

— Это еще кто? — спросил, глядя на дверь, которая закрылась за Аглаей.

— Новая наша жиличка, — ответила мама. — Кажется, симпатичная.

— У тебя все симпатичные, — проворчал он и сел за стол, а мама рванулась на кухню за супом — отчим требовал, чтобы к его приходу все было горячее.

Как все это началось? Все то постыдное, грязное, омрачившее мою раннюю юность.

Я ловила их взгляды, скрытные и лукавые взгляды двух сообщников, которыми они обменивались за спиной у мамы; не знаю, замечали ли остальные жильцы то, что творилось? Может быть, и нет. Мало кому было дело до Аглаи, до моего отчима, каждый жил своей отдельной, нелегкой жизнью.

Может быть, потому они распоясались. Стоило маме уйти куда-либо, как отчим мгновенно нырял в комнату Аглаи.

Сколько раз приходилось слышать, как щелкает замок в ее хилой двери! Сколько раз хотелось выломать эту дверь и кричать, кричать до тех пор, пока все люди не сбегутся, не засмеют обоих бесстыдников, не покроют их несмываемым позором...

Но — нет. Приходилось молчать. Отчим перестал меня бояться, а у Аглаи хватало наглости заходить к маме поболтать по-соседски, и мама говорила мне о ней:

— В сущности, жаль ее, бедняжку, все одна да одна...

Кулаки мои сжимались, горечь переполняла сердце, и вдруг я начинала ни с того ни с сего громко смеяться, чтобы не заплакать.

Мама удивленно спрашивала меня:

— Чего ты смеешься?

— Так, ничего,— отвечала я и смеялась все громче, все надрывнее.

Но, как говорят, когда-нибудь нарыв все-таки должен лопнуть.

Однажды, поздней осенью, я вернулась из школы домой. Мама была на работе, а отчим лежал дома, у него была ангина с высокой температурой.

Я вошла в нашу комнату, само собой, не постучавшись. В тот же момент Аглая мгновенно отбежала от кровати отчимом, вихрем промчавшись мимо меня к двери.

Я молча положила свои тетрадки и учебники на стол, стараясь не глядеть на отчима. Щеки мои пылали. Вдруг вспомнилось, как мама перед работой «накачивала» меня: поставь кипятить молоко, купи лимон, приготовь полосканье, подогрей бульон, напхни ему мерить температуру... Мама думала и заботилась о нем, а он...

И вдруг почти помимо моей воли я подняла голову и спросила:

— Скажите, сколько так будет?

— Что? — рассеянно переспросил он, думая, наверное, о чем-то другом.

— Сколько так будет? — повторила я.

— Ты о чем это? — спросил он.

— О том самом,— ответила я.

Он понял меня сразу, пренебрежительно махнул своей пухлой, мясистой ладонью.

— Хватит!

— Почему хватит? — спросила я.

— Хватит! — Он произнес это слово пренебрежительным тоном, должно быть потому, что наконец-то уверился за все это время в моем молчании.

— Нет,— сказала я,— не хватит. Кончится тем, что возьму и все, все, все расскажу маме.



Он сощурил один глаз, будто желая лучше разглядеть меня.

— Врешь,— сказал просто.— Не расскажешь!

Ему ничего не стоило лгать и притворяться изо дня в день, к тому же он уже знал, что ему нечего меня бояться, я не смогу ничего рассказать маме, потому что боюсь за нее и жалею.

— Расскажу,— сказала я и подошла ближе к кровати.— Я больше так не могу. Видеть все ваши гадости и молчать...

Я не докончила. Он проворно вскочил с кровати, ринулся ко мне и с размаху влепил пощечину. Я даже качнулась от силы его удара, но выстояла. В ушах моих звенело, голова кружилась.

— Вон! — задыхаясь от ярости, прохрипел он.

Не помню, как я выбежала, как пронеслась по коридору.

Я ничего не видела, не слышала. Быстро открыла дверь, промчалась вниз, на улицу.

Не помню, где я тогда ходила, по каким улицам и переулкам. Мне не хотелось ни пить, ни есть, ни спать, я бродила без устали, переходила с одной стороны улицы на другую, зачем-то возвращалась на одни и те же перекрестки и снова брела куда глаза глядят, куда ноги идут...

Проходя мимо какого-то дома, наверное, это была парикмахерская, я случайно наткнулась на свое лицо в зеркале. Да вдруг встретилась глаза в глаза с кем-то удивительно знакомым.

Лишь спустя секунду пришло сознание — это я, сама...

Как ни странно, до сих пор помню, на лице моем не было ни отчаяния, ни горя, ни ужаса. Ничего. Обычное, даже, я бы сказала, спокойное лицо, и только, если вглядеться, в глазах застыло что-то тревожное, затаенное. Или мне это просто так казалось?

Я вернулась домой поздно. Еще стоя за дверью, услышала мамины торопливые шаги. Мама с силой распахнула дверь, увидела меня, зарыдала, потом обняла, оттолкнула от себя, снова залилась слезами...

— А я уже не знала, что и думать,— сказала она.

В дверях нашей комнаты стоял отчим, одетый в теплый халат, с завязанным шерстяным платком горлом.

— Я уверял маму, что ничего с тобой не случилось,— сказал он, облизывая свои по-женски пухлые и яркие губы.— В крайнем случае, пошла куда-нибудь с ухажером. Что, нет? — Узенькие глазки его гадко сощурились.— Не знаю, как кто,— обернулся он к маме,— а я лично уверен, что у нее есть уже ухажер, да не один, наверно!

— Будет тебе,— сказала мама.

Она вышла на кухню подогреть чайник. Я сказала отчиму, не глядя на него:

— Вы же знаете, что я никогда ничего ей не скажу...

Он спокойно согласился:

— Знаю...— И засмеялся.

— Чего ты смеешься? — спросила мама, войдя в комнату.

— Так, ничего, вспомнил одну смешную шутку.

— Какую шутку? — спросила мама.

Он засмеялся еще громче.

— Ну, Ляля, расскажи маме, пусть она тоже посмеется вместе с нами...

Я повернулась, побежала в ванную и долго сидела там в темноте, прижав кулаки к щекам, широко раскрыв глаза.

Не знаю, сколько бы я просидела там, если бы кто-то не начал рвать ручку ванной — квартира у нас была большая, густонаселенная, и места общего пользования не разрешалось занимать чересчур долго...

Он заболел вскоре после окончания войны.

Лежал в постели, огромный, с раздутым водянкой животом, багроволицый, дыша тяжело и часто, будто взбирался на высокую гору.

Я училась на последнем курсе института. Само собой, приходилось много готовиться к занятиям; но надо было помогать маме.

Я делала все, что могла,— ходила в аптеку за лекарствами, вызывала «скорую помощь», дежурила возле него ночью, чтобы дать отдохнуть маме, даже научилась делать уклады.

Он был капризный, вечно всем недовольный. Случалось, ему почему-то не нравилось молоко, которое мама подавала ему, и он отталкивал стакан своей отечной рукой с туго натянутой блестящей кожей.

Я кипела, едва сдерживаясь, а мама словно бы ничего не замечала. Ее, бесконечно терпеливую, невозмутимоспокойную, казалось, невозможно было вывести из себя.

— Хорошо,— весело говорила мама, собрав осколки разбитого стакана,— не хочешь молока, не надо. Как ты относишься к киселю?

Отчим сердито сопел, а мама продолжала:

— У меня на этот раз получился божественный кисель. Дай я тебе налью чашечку?

— Ладно,— снисходительно бросал он.

Внезапно он начинал кашлять, задыхаться. Его большое, распухшее от водянки лицо покрывалось бурым румянцем, глаза слезились.

Мама садилась рядом, брала его руку в свои ладони.

— Сейчас пройдет,— утешала.— Потерпи еще немножечко...

А он хрипел и задыхался. Потом впадал в забытие, откинувшись на подушки.

Я старалась преодолеть невольно возникавшую к нему жалость.

Даже в самые тяжелые приступы, которые одолевали его, даже тогда, когда он хрипел, иступленно кашляя, я настойчиво уговаривала саму себя: мне не жалко его, не должно быть жалко!

Но порой вдруг странное, непонятное чувство охватывало меня: он задыхался, а я ловила себя на том, что мне больно за него, за его смертные, должно быть, непереносимые муки.

Мой разум восставал против меня, призывая на помощь те ставшие далекими воспоминания, которым суждено никогда не исчезнуть из моей памяти.

Тогда мне становилось жаль, но не его, а маму. Иной раз я жалела даже саму себя. Ведь у всех моих подруг были нормальные семьи, и только у меня одной была самая настоящая драма в семье, драма, о которой никому не скажешь, ни с кем не поделишься...

Много лет прошло с той поры. И, хотя я изо всех сил оберегала от мамы эту постыдную тайну, все-таки не могу с уверенностью сказать, что она ни о чем не догадывалась. Потому что был один случай, так и оставшийся для меня неразгаданным, я не раз возвращалась к нему мысленно,

пытаясь понять, в чем же там дело, но так и не поняла ничего.

Помню, пришла я из школы. Тогда я училась в девятом классе, уже вступила в комсомол, у меня было множество общественных нагрузок, и обычно я возвращалась из школы поздно.

А тут пришла раньше обычного и остановилась: мама сидела за столом, закрыв лицо обеими руками, плечи ее вздрагивали. Я бросилась к ней:

— Мама, что с тобой?

Я обняла ее, она отвернулась от меня, всхлиывая, и вдруг показалась мне такой беззащитной, потерянной. Сердце мое упало.

«А может быть,— подумала я,— отчим сам все рассказал маме, решив уйти к Аглае?»

— Скажи, что с тобой? — настойчиво допытывалась я.

Но мама не отвечала.

— Зачем тебе знать? — наконец спросила она, всхлиывая и по-прежнему закрыв лицо руками.

В этот самый момент вошел отчим.

Он тоже (надо же, чтобы все так совпало!) вернулся раньше обычного с работы. Быстрым взглядом окинул маму, меня, спросил торопливо, я безошибочно ощутила испуг в его голосе:

— Что такое? Почему мама плачет?

— Не знаю,— ответила я.

Он покраснел, потом резко побледнел. Была у него такая особенность: заливаться румянцем и вдруг быстро бледнеть.

Он глянул на меня, глаза его вспыхнули яростью.

— Это ты маме что-то сказала? Да, ты? Маня, не верь ей, ни одному ее слову не верь!

Он кричал, все сильнее повышая голос, а я, помню, подумала: «Зачем он выдает себя? Ведь на воре шапка горит...»

Странное дело, все же я чуть-чуть успокоилась: нет, он по-прежнему хранит свою тайну.

Мама молчала, все еще закрыв лицо руками. Я сказала:

— Я пришла из школы, вижу — она плачет. Я ее спрашиваю, почему она плачет, а она ничего не говорит.

До сих пор помню, как я с надеждой глядела на отчима.

Да, я знала все и привыкла страдать за маму и в то же время ждала от него нужных слов, надеясь, что он успокоит маму.

Что с меня было взять? Ведь тогда мне еще не исполнилось шестнадцати...

Но отчим все еще не верил мне, а не веря, решил как-то нейтрализовать все то, что я, по его мнению, могла наговорить маме.

— Теперь мне все ясно,— сказал он, и маленький рот его стал узким и длинным.— Все ясно, это ты из-за нее так убиваешься, Маня, из-за этой противной девчонки, она что-нибудь такое натворила? Правда? Или ты про нее узнала что-то отвратительное, верно?

Мама ничего не ответила ему, и он продолжал:

— Нет, в самом деле, на нее все похоже. Это ты из-за нее расстроилась? Говори, из-за нее?

— Нет, не из-за нее,— ответила мама.

Я вышла из комнаты, и он вышел вслед за мной. В коридоре он схватил меня за руку.

— Ну, говори, дрянь, что ты там такого наболтала?

— Ничего,— сказала я.— Мама ничего не знает от меня...

— А от кого?

— Что — от кого?

— От кого она знает? — спросил он.

— Не знаю. По-моему, ни от кого.

Он пожевал губами и — о первозданный эгоизм, который привык ни с кем не считаться! — спросил:

— Ты правда ничего ей не говорила?

— Ни слова...

Сколько лет прошло с того дня, однако мне все ясно помнится, так ясно, словно это случилось вчера. Но до сих пор не пойму никак, почему мама тогда плакала.

Она мне ничего не сказала и отчиму тоже не призналась ни в чем. Может быть, это было предчувствие, что не все ладно в ее доме? Или кто-то все-таки что-то брякнул? Не знаю.

Впрочем, я и не пыталась узнать. А теперь это уже и вправду ни к чему.

Аглая уже не жила в нашей квартире. В войну она уехала в эвакуацию, куда-то на Урал, да так и осталась там. И мы не знали, жива ли Аглая или давно уже умерла.

Некоторое время от нее каждый месяц поступали деньги — она платила за свою комнату в домоуправление, — потом деньги перестали приходить.

Мама иной раз спрашивала:

— Если бы знать наверняка, что с Аглаей?

— Зачем тебе? — удивлялась я.

— Может быть, ей надо чем-нибудь помочь...

Однажды я резко сказала:

— Не наше это дело!

— Какое дело не наше? — спросила мама.

— Думать обо всех и всем помочь.

Мама сказала непривычно сухо:

— Мы не можем и не должны так говорить!

— Кто это — мы?

— Мы — это люди, — ответила мама.

Боже мой, как трудно было мне удержаться, не выложить все, как есть! А до чего ж хотелось! До чего ж хотелось!

Мама не могла ни жалеть, ни сочувствовать тем, кто нуждался в сочувствии и в жалости. Она не умела пройти мимо, отмахнуться от чужой беды, надеть на себя спасительную броню равнодушия.

За что же ей, такой душевной, детски доверчивой, выпало тяжкое горе быть обманутой, преданной самым любимым, самым главным человеком в ее жизни?

Бабушка однажды сказала:

«Счастье в незнании».

Позднее я осознала: бабушка думала о маме...

Неужели она была права? И счастье действительно в незнании?

...Он не хотел умирать. Всю жизнь панически боялся смерти. Не любил говорить о болезнях, вспоминать умерших. Должно быть, считал, что смерть не может его коснуться. Во всяком случае, полагал, что это случится очень не скоро, в глубокой старости.

Но ему суждено было серьезно заболеть, в сравнительно еще не старые годы, что-то около шестидесяти.

Сперва он не желал верить, что болен. Храбрился, уверял, что все это пустяки, что все скоро пройдет. Говорил он вовсе не потому, что жалел маму. Это все он говорил, одержимый неукротимой, беззаветной, самозабвенной любовью к самому себе. Бывало, уже опрокинутый

болезнью на обе лопатки, он стонал, задыхаясь, исходя потом:

— Что делать? Спаси меня, слышишь? Спаси!

— Хорошо,— говорила мама.— Я постараюсь, я все для тебя сделаю...

Он вглядывался в нее, как бы завидуя неистощимому ее здоровью, ровному дыханию, блеску глаз, потом злобно шипел:

— Тебя бы на мое место...

— Хоть сию минуту,— отвечала мама.

Она не лгала, не притворялась. И он знал, она готова в любой момент взвалить на себя все горести и страдания, которые обрушились на него. И также знал, что она никогда не рассердится на него, что бы он ей ни сказал.

Все простит, каждому слову найдет оправдание.

Однажды, когда мама ушла в аптеку за кислородными подушками, ему стало совсем плохо. И я испугалась: вдруг мама не застанет его в живых?

Он побледнел, посинел, прерывистое дыхание едва прослушивалось, в горле его все время что-то кололо и хрипело.

Я бросилась за соседкой. Это была мать Гоги, маленького моего приятеля, который уже успел за эти годы стать непомерно высоким дылдой и учиться на сплошные пятерки.

Соседка, я привыкла с детства звать ее тетя Аля, пришла, глянула на отчима и тоже испугалась:

— Вроде кончается.

— Нет! — воскликнула я.— Нет!

Быстро сунула ему в рот две таблетки нитроглицерина, потом метнулась на кухню, схватила чей-то чайник, стоявший на плите, налила горячей воды в грелки, одну приложила к ногам отчима, другую положила в его руки.

Прошло минут пять-шесть, что ли, щеки отчима медленно порозовели, он перестал хрипеть. Спросил:

— Который час?

— Начало шестого.

— А мама где?

— Скоро придет.

Тетя Аля подошла ближе к кровати. Спросила нарочито весело, так, как обычно говорят с неизлечимыми больными:

— Как дела, Василий Матвеевич?

Он долго, надрывно кашлял, прежде чем ответить:

— Сами видите, бронхит разыгрался...

Врачи уверяли его (по настоянию мамы), что у него запущенный бронхит, от которого он непременно со временем избавится.

— Поиграет да перестанет,— сказала тетя Аля.— Скоро мы с вами в Парк культуры поедem, на «чертовом колесе» прокатимся!

— Надеюсь! — прохрипел он.

А тетя Аля заторопилась уйти, потому что, я видела, ей тяжело на него глядеть и говорить с ним.

Я согрела чайник, принесла ему стакан крепко заваренного чаю с лимоном.

Он приподнялся на подушке:

— Боюсь, вдруг стакан не удержу...

Я взяла стакан и стала поить отжима чаем с ложечки. Он шумно тянул в себя горячую, почти огненную жидкость.

— Вкусный чай какой...

Поднял свою тяжелую, налитую водой руку, тихо погладил меня по плечу.

Внезапно спросил:

— Небось устала?

Я удивилась. И не сумела скрыть своего удивления: он никогда ни о ком не думал.

Он понял, почему я удивилась.

— Ты не сердись, я ведь от души спрашиваю.

— За что мне на вас сейчас сердиться? — спросила я, невольно выделяя слово «сейчас».

Он ничего не ответил, откинулся на подушке, закрыл глаза.

Когда пришла мама, он встретил ее с улыбкой:

— Наконец-то! Я уже соскучился...

Непривычная к ласковому обращению, мама обрадовалась, глаза ее просияли, и она вдруг разом помолодела.

Я смотрела на маму и думала, что мама не простила бы прежде всего себе, а потом мне, что ушла, а он в это время умер. И я была в этот миг очень довольна, что сумела отстоять его, выцарапать из смерти...

— Как ты себя чувствуешь? — спросила мама.

— Хорошо,— ответил отчим.

— Правда, хорошо? — переспросила мама.



— Хорошо,— сказал он, но вдруг голос его дрогнул, лицо покрылось синеватой бледностью.— Мне плохо,— пробормотал он.

Мама мгновенно поднесла к его рту кран от подушки с кислородом. Он подышал, успокоился, даже улыбнулся:

— Словно в лесу погулял...

И она, моя мама, так обрадовалась, услышав эти слова!

Он умер зябким и хмурым февральским утром. Я была в институте, а у нас гостила бабушка.

В коридоре нашей квартиры мне навстречу выбежала тетя Аля.

— Что? — только и спросила я, глядя в ее встревоженное лицо.

— Все,— ответила она.

Я бросилась в комнату. Мама сидела около кровати отчима, возле стояла бабушка, положив руку на мамино плечо.

Он лежал грузный, отечный. Глаза его были закрыты, губы плотно сжаты.

И так необычно было видеть его совершенно спокойным, неподвижным, странно было, что он не кашляет, не стонет, не задыхается.

Я обняла маму, она не шевельнулась, продолжая все так же пристально, с какой-то тихой яростной одержимостью вглядываться в мертвое лицо отчима.

Я тоже смотрела на него. Мы обе думали о нем, но мысли наши резко отличались друг от друга.

Мне вспомнились безрадостные годы моего отрочества и ранней юности, ложь, омрачившая жизнь, упрямое мое молчание и боль, и горечь, и нестерпимая, постоянно грызущая обида за маму, и его несправедливость и сознание им полной своей безнаказанности...

А мама, глядя на него, должно быть, полагала, что и ее жизнь кончилась с его существованием, потому что ушел человек, который был ей дороже всех на свете...

\* \* \*

Мне кажется, самое тяжелое для меня в эти дни было — слушать, как мама убивается по нем и находит всё новые слова для его восхваления.

Но я так ни одного слова и не сказала маме. Ни тогда, в дни похорон, ни позднее. И бабушка сошла в могилу, не сказав маме ничего.

А мама до последнего своего часа ездила к нему на могилу, часто вспоминала о нем, каждое ее слово жгло и немилосердно язвило меня, но я держалась. Я знала, что не имею права лишать маму иллюзий. Пусть они, эти ее иллюзии, на всю жизнь останутся с нею и будут ее греть. Должно быть, с ними ей теплее и легче...

## Три дня в Москве

**Я** приехала с фронта в декабре. А дома во всей нашей коммунальной квартире был один только Иван Владимирович.

Он открыл мне дверь, стоял на пороге, вглядываясь и не узнавая. А я, разумеется, сразу узнала его, подумав про себя: до чего ж постарел, похудел, даже вроде ростом стал пониже.

Он шагнул в сторону и вдруг узнал.

— Валька! — сказал радостно. — Явилась, наконец-то!

Потом мы уселись с ним на нашей опустевшей, разом ставшей чересчур просторной кухне, где он в мою честь зажег все горелки.

Чайник кипел на плите, исходя паром, совсем как в мирное время. Иван Владимирович любил доводить чайник, по словам Кота, до самой невысшей точки кипения, а на чайнике стоял другой, фарфоровый, в хорошо знакомых сиреневых цветочках, с заваркой. Я привезла с собой чай, сгущенное молоко, свиное сало — все то, что сунул на дорогу начпрод. И еще специально для Ивана Владимировича пачку трофейного табака.

Уже упали ранние зимние сумерки, морозный туман клубился за медленно таявшим от тепла окном, над заснеженными, прокаленными морозом крышами повисло облачное небо, и я смотрела то на плиту, то на небо в окне, то на потолок, изрядно закопченный, и все никак не могла до конца поверить, что я в Москве, что это всё Москва — и небо, и плита на кухне, и чайник, и крыши за окном.

— Вам не страшно одному в квартире? — спросила я Ивана Владимировича.

Он усмехнулся:

— Скорее, непривычно, потому что слишком тихо.

Когда-то наша квартира была шумной, может быть, самой шумной во всем доме. Поминутно звонил телефон, на кухонной плите были обычно заняты все горелки, вечерами мы с Котом заводили патефон, в который раз слушая «Брызги шампанского» и «Синюю рапсодию», по коридору топала Лиза, звучал ее зычный голос, она, кажется, вообще не умела тихо разговаривать, у Архиповны, старухи, жившей в соседней со мною комнате, с раннего утра до позднего вечера не выключалась радиоточка. Архиповна была глуховата и любила, чтобы радио работало на полную мощность.

А теперь кругом царил тишина. Все двери были заперты, телефон молчал, и коридор казался чересчур длинным.

Еще в начале войны мои родители эвакуировались на Урал, Архиповна переехала к племяннице в Измайлово, Лиза была, как и многие москвичи, на казарменном положении, все время проводила на заводе, а свою жену Галину Сергеевну Иван Владимирович отправил в деревню к родным под Загорск малость подкормиться на деревенских харчах.

От Кота изредка приходили письма. Кот воевал на Северо-Западном, был пока что жив и здоров и в каждом письме спрашивал, что слыхать обо мне.

В соседней квартире все жильцы эвакуировались, осталась одна лишь Галя Барташевич, женщина победительной красоты, о которой ходили легенды по всему нашему дому.

— Как Галя? — спросила я. — Все такая же красивая?

— Как тебе сказать... — подумав, ответил Иван Владимирович. — Красивая, может, и так, хотя сдавать уже начинает, но как была глупой, так и осталась.

Мне вспомнились Галины прозрачные, янтарного цвета глаза в черных ресницах, детский выпуклый лоб без единой морщинки, губы сочные, как черешня, и всегда полуоткрытые, будто Гале постоянно жарко.

Неужто и этой красоте суждено исчезнуть со временем?

— Как бы там ни было, а ухажеры ее навешают,— сказал Иван Владимирович.— Правда, никак никто зацепиться не может, один сменяет другого, и дело с концом.

— Не надо злословить,— умиротворенно сказала я.

Мне хотелось сегодня быть совершенно доброй. Ведь и ко мне судьба повернулась по-доброму, и я неожиданно очутилась дома. Пусть даже и всего-то навсего на три дня.

— Я тебе вот что советую,— сказал Иван Владимирович.— Ложись-ка спать, только сперва открой дверь, чтобы тепло из кухни шло в комнату, а то, гляди, за ночь превратишься в сосульку.

— Не люблю спать с открытой дверью,— ответила я.

— Когда пойду спать, я закрою.

— Ладно,— сказала я.— Так и сделаю, мне надо выспаться: с утра надо будет проверить одно важное дело.

— Что за дело? Секрет?

— Никакого секрета нет, я вам после все расскажу.

Он оглядел меня, остановился взглядом на левой руке.

— А это что такое? Почему перчатку не снимаешь? Фасонишь, поди?

— Какой там фасон, я была ранена, только вам не писала.

— Вот оно как. Серьезная рана?

— В общем, средней тяжести. Сквозное ранение и нерв задет. Пришлось около трех месяцев в госпиталях проваляться.

— А теперь как же?

— Теперь лучше. Потому мне и дали отпуск домой.

— Не было бы счастья...— сказал он и улыбнулся, хотя глаза его смотрели на меня с жалостью.

Моя комната была совершенно такой же, какой я оставила ее: книги на столе, на полу; только любимые мои цветы — традесканции — засохли, понуро свисали со стены, похожие на голые прутья, и плющ, подарок Кота, весь скукожился, превратившись в хилую палочку неопределенного цвета.

Я раскрыла шкаф. Там висели довоенные мои платья с подставными плечами, в оборках и воланах. Неужели было такое время, что я носила такие вот платья? И вместо сапог обувала коричневые лодочки на высоком каблуке?

Я сняла с вешалки старый халат, голубой в мелкий горошек, с белым пикейным воротником. Халат казался символом прошлой жизни, которая сейчас представлялась такой благополучной, сияющей, безмятежной. От халата исходил запах одеколона «Под липами», хорошего хозяйственного мыла и нафталина.

Нет, подумалось мне, не ценила, совсем не ценила я счастья, которого, полагала, должно было хватить на все годы, — жить в спокойном городе под никем не тревожимым небом, ложиться каждый вечер в свою постель на чистые простыни, утром надевать халат и мыться вдосталь горячей водой в ванной, где с утра до ночи горел слабый огонек запальника, и ощущать тепло, самое обычное тепло от радиаторов центрального отопления.

Сейчас радиаторы были холодные, неживые. Серый слой пыли густо покрывал их рифленые бока, а на окнах висели темные бумажные шторы.

Я зажгла настольную лампу, легла на тахту, накрывшись одеялом, а поверх одеяла еще пледом.

На полу возле тахты лежала книга. Это был «Холодный дом» Диккенса, один из любимых моих романов. Я перечитывала Диккенса в различные годы, и тогда, когда училась в школе, и после, став старше. Меня покоряла душевная широта Диккенса, его сочувствие чужому горю и ненавязчивый юмор.

И вот я угрелась, раскрыла книгу и попыталась забыть обо всем, окунуться в далекий мир знакомых героев.

Но как я ни пыталась, а читать не могла. Думала все об одном — я в Москве, дома, в своей комнате...

Иван Владимирович стал в дверях. В одной руке трубка, в другой — стакан чая.

— Давно уже не пил настоящего чая.

— А вы все курите?

— Что ж поделать? Мне за семьдесят, поздно менять привычки, тем более что ты еще и табак привезла.

— А вы по-прежнему на «Трехгорке»?

— По-прежнему. Только уже не помастера, а инструктор производственного обучения. К нам на «Трехгорку» пришло много молодежи, совсем зеленой, лет по пятнадцать-шестнадцать, их еще учить да учить...

— Вот вы и стараетесь...

— Куда ж деваться? А еще все лето на крышу взбирался по вечерам.

— Это еще зачем?

— Тушил зажигалки. И Лиза со мной тушила. К слову, жаль, что вы с ней не увидите. Она как узнает, что ты была, такой крик поднимет!

— Представляю себе.

— Ну, спи. Я дверь закрою.

Подошел ко мне, осторожно погладил меня по плечу.

— Вот ты и опять дома.

— Мне казалось, что моя комната тоже ушла вместе со мной.

— Ладно,— сказал он.— Спи, фантазерка...

Иван Владимирович знал меня с детства, с того самого дня, как мы переехали на Скатертный. Квартира была большая, как принято было раньше говорить — барская. Высокие потолки, просторный коридор, ванная, даже целых две уборных; очевидно, когда-то, до революции, уборные в квартире были отдельно — для господ и для прислуги.

До сих пор помнится тот самый день, когда мы переехали сюда. До этого мы жили на Самотеке, в подвале старого дома. В наш подвал никогда не заглядывало солнце, и даже в летний зной там было темно и прохладно, а стены сочились сыростью. Должно быть, из-за этого я росла слабенькой, часто болела, и мама не раз говорила:

«Совсем наша Валька захирела...»

И вдруг однажды отец принес ордер на новую комнату.

Что это была за комната! Светлая, два окна, квадратная, двадцать с чем-то метров и вся залитая солнцем. Мама как вошла, сразу же заплакала. Мама была строгая, держалась уверенно, и видеть ее плачущей было как-то непривычно.

Отец удивленно спросил:

— Чего ты плачешь, чужак человек? Радоваться нужно!

— Это я от радости,— ответила мама.

И я, помню, очень удивилась тогда: выходит, и от радости можно плакать?

Жильцов в квартире по тем временам было немного: вместе с нами четыре семьи. Напротив нас находилась комната Ивана Владимировича. Он первый постучался

и вошел к нам. Высокий, плечи развернуты, рубашка белая, на брюках складки словно ножи.

— Давайте, соседи, знакомиться,— сказал.— Сергеев Иван Владимирович.

Он показался тогда мне совсем старым, хотя теперь я понимала — ему не было в ту пору и шестидесяти.

— У меня такой сын, как ты,— сказал он мне.— Правда, немного постарше.

Я познакомилась с его сыном в тот же день. Он увидел меня в коридоре, сказал:

— Здравствуй, новый жилец!

Был он похож на отца, светлоглазый, высокий, лицо той здоровой смугловатой бледности, под которой таится всегда готовый вспыхнуть румянец.

— Меня зовут Костя, но все привыкли звать Котом.

— А я Валя.

— Тебе нравится наша квартира?

— Нравится.

— А почему ты такая маленькая? — спросил Кот.— Прямо дюймовочка.

Я сердито ответила:

— Потому кончается на «у».

Он засмеялся. У него были крупные зубы, и, когда смеялся, щеки розовели, а под правым глазом появлялась ямочка.

— Ты уже учишься в школе?

— Конечно.

— В каком классе?

— Во втором.

— А я в шестом. Ты, наверно, перейдешь в нашу школу, это рядом, в Столовом переулке.

Я спросила:

— У тебя есть собака?

— Нет, а что?

— Давай заведем собаку, одну на двоих...

Он покачал головой:

— Ничего не выйдет.

— Почему?

— Лиза не хочет. Я пробовал уже привести собаку, а Лиза разоралась до того, что пришлось тут же отдать собаку.

— Кто это Лиза?

— Соседка. Ты еще ее увидишь и, главное, услышишь.

Кот подмигнул мне, и я тоже ответно подмигнула ему, хотя пока что и сама не понимала, почему это он подмигивает.

С чего началась наша дружба? Наверно, вот с этого, первого разговора. Я была моложе его на четыре года, но он мне сказал, что я похожа на его младшую сестренку, которая умерла несколько лет назад.

— Даже ростом вы похожи,— сказал Кот.— Она была такая же, как и ты, маленькая...

Родители наши тоже подружились. Мой отец работал токарем на машиностроительном заводе, а Иван Владимирович поммастера ткацкого цеха на «Трехгорке».

Он и предложил отцу перейти на «Трехгорку». У отца начали слабеть глаза, ему все труднее становилось работать на станке, и отец согласился и стал работать на «Трехгорке» комендантом общежития.

Правда, маме не очень нравилась новая работа отца. Мама была у нас в семье главной, она работала на автозаводе, в отделе технического контроля. Кроме того, считалась активной общественницей — была членом завкома, культторгом и еще страхделегатом.

И я все свое детство куда чаще бывала с отцом, чем с мамой. На отце лежали хозяйственные заботы; случалось, он и обед готовил, и по утрам он, а не мама, уходившая раньше его, расчесывал мне волосы и заплетал косы.

А когда я болела, чаще всего ангиной, то отец ставил мне компрессы на горло и давал полоскание, потому что маме приходилось как страхделегату навещать после работы своих больных и на меня уже просто не хватало времени. Иной раз отец робко замечал, вроде бы ни к кому не обращаясь:

— Вот оно как получается, свой ребенок болен, а мать к чужим людям в больницы ходит...

На что мама отвечала невозмутимо:

— Надо уметь общественные интересы ставить выше, чем личные.

Кот говорил:

— Твоя мама какая-то особенная. Совсем не похожа на мою маму.

И в самом деле, Галина Сергеевна была полной противоположностью маме. Это была отменная хозяйка.



Какие пекла пироги и ватрушки! Какие варила борщи, наваристые, с золотистыми пяточками прозрачного жира! Что за вареньем из грецких орехов с клюквой угощала осенью, с тихой радостью глядя на меня и Кота, уплетавших полные блюдечки!

Она была немногословная, мягкая, никогда никого не осуждала, ни во что не вмешивалась, ни с кем не ссорилась, а если на кухне возникала какая-либо свара, мгновенно уходила к себе. Свары обычно начинала Лиза. С Лизой я познакомилась на второй день. Как Кот и предсказывал, я услышала ее раньше, чем увидела. Рано утром она стала у нашей двери и начала кричать во весь голос:

— Это еще что такое? Почему пол не вымыт в коридоре? Если новые жильцы переезжают, обязаны пол вымыть!

И так далее, в том же духе.

Мама выглянула из-за двери, вежливо сказала:

— Сегодня вечером вымою.

Однако Лиза не успокоилась, продолжала кричать, что до вечера ждать долго и порядочные люди должны мыть утром, так уж полагается во всех квартирах.

Лиза отличалась необыкновенной вздорностью и неуступчивостью. Стоило кому-нибудь ненароком хотя бы на сантиметр сдвинуть ее кастрюлю с конфорки, как она принималась орать до тех пор, пока кастрюлю не ставили обратно точно на то же самое место.

Впрочем, поорав вволю, Лиза тут же успокаивалась и как ни в чем не бывало заводила разговор о нарядах или об очередном ухажере, пришедшем к Гале Барташевич.

Лиза работала на заводе «Прожектор». Муж Лизы был машинист. Кот рассказывал, что он был мягкий, покладистый. Лиза вертела им, как ей угодно, но жили они благодаря его характеру дружно. В позапрошлом году случилось несчастье: поезд, который вел Лизин муж, потерпел крушение, и машинист погиб.

Удивительная вещь! При жизни мужа Лиза подолгу пилила его, часто придиралась по пустякам, но, когда его не стало, она вдруг поняла, какого потеряла человека. Лиза стала часто плакать и любила подробно рассказывать о том, как хорошо, ладно жили они с мужем, никто никому и слова поперек не сказал...

Порой к нам в квартиру приходила Галя Барташевич позвонить, у них в квартире не было телефона.

Я любила слушать, как она говорит по телефону. Трубку она держала любовно, словно руку близкого человека, и говорила тихо, многозначительно. Даже простое слово «хорошо» произносила так, будто давала клятву.

А еще больше я любила смотреть на ее лицо с янтарными глазами и кожей, похожей на чуть зарумянившийся абрикос, на пышные русые волосы, из которых Галя мастерила разнообразные прически: то распустит по плечам, то короной обернет вокруг головы или поднимет вверх так, что шея с пушистыми завитками остается открытой.

Галя работала в нашем домоуправлении счетоводом. Лиза уверяла, что из-за Гали в конторе домоуправления день-деньской толкутся мужики, словно медом приклеенные, и каждый наскоро придумывает причину, зачем пришел: кран надо исправить, или со слесарем поговорить, или требуется починить крышу, или еще что-нибудь в том же роде. Весь наш дом знал, что поклонников у Гали хоть отбавляй. Но к тому времени, когда мы переехали, Галя уже остепенилась, и у нее два раза в неделю бывал только один, на вид очень солидный мужчина.

Вездесущая Лиза, разумеется, узнала о нем все как есть.

Он был женатый, семейный, само собой, тщательно скрывал от жены посещения Гали, а вот ежели бы жена узнала, она бы этой самой Гале показала, где раки зимуют...

Все это Лиза рассказывала с увлеченностью человека, любящего влезать в чужие дела, и однажды наша тихая Галина Сергеевна, не выдержав потока Лизиных слов, остановила ее:

— Будет тебе, Лиза, не все ли равно, кто он такой?

Лиза взвилась. Раздув широкие ноздри правдолюбца, она обернулась к Галине Сергеевне:

— Вы что, никак, попрекать меня вздумали?

И пошла-поехала. Остановить ее было невозможно. Галина Сергеевна уже успела скрыться в своей комнате, а Лиза все еще продолжала с надрывом перечислять собственные достоинства — любовь к справедливости, стремление всегда говорить одну только правду в глаза,

и еще она кричала, что не потерпит никаких замечаний в свой адрес, будет жить только так, как сама разумеет, и ни один человек на всем свете ей не указ.

А мы с Котом подсмеивались втихаря над Лизой. Кот говорил:

— Она несдержанная, крикливая, но зато добрая.

Он любил во всех людях искать хорошее. Если даже и не находил, старался придумать и порой увешивал кого-то недостойного всевозможными превосходными качествами и никогда не испытывал разочарования, даже тогда, когда видел свою оплошность.

Делился только со мной:

— Лучше забыть плохое, а помнить только хорошее.

— Ты можешь забыть плохое? — спрашивала я.

— Могу, — отвечал он.

И я верила ему.

\* \* \*

Ночью я проснулась от холода. Кругом была черная-пречерная ночь. Я встала, сняла маскировочную штору с одного окна, и сразу же в комнату ринулась луна всей своей пронзительно-ледяной, негреющей округлостью, сверкнул стакан на столе, зеркало в ответ тускло блеснуло, и по давно не метенному полу пролегла узкая светлая полоса.

Мне вспомнился мой сон. Во сне я видела того, благодаря кому осталась жить. Снова приблизилось ко мне его лицо, простое, с широко расставленными глазами и курносый носом. Отчетливо были видны короткие рыжеватые ресницы, родинка на подбородке, щеки с отросшей щетиной. Обычное, ничем не примечательное, даже некрасивое лицо.

И опять донесся до меня зловещий квакающий звук летящей откуда-то издалека мины. Она словно бы пела по-своему, эта небольшая, несущая смерть штучка, и я почему-то заслушалась, не понимая, откуда же взялся этот странный звук.

— Ложись! — крикнул он.

Я обернулась к нему, все еще ничего не соображая, и тогда он с размаху упал на меня и закрыл собой. Сразу стало очень душно, нечем дышать и так жарко, словно

я попала в пылающую печь, и я попыталась было высвободиться, но он не пускал меня, и вдруг руки его бессильно отпали, и я ощутила на лице что-то горячее, липкое. Это была его кровь.

Я вскочила с земли. Он лежал, глядя на небо спокойным, но уже не видящим никого взглядом. И рот был открыт. Казалось, он хотел сказать что-то, да не успел, или смерть настигла его в тот самый миг, когда он произнес какое-то слово, а какое именно, я уже никогда не могла узнать.

По лицу его медленно, вяло бродила невесть откуда залетевшая муха.

Почему в такие моменты вдруг запомнишь такую, казалось бы, ерунду?

Ну к чему мне эта муха? А я до сих пор все еще вижу, как лениво, словно бы нехотя, пробирается она от его глаз ко рту, а он ничего не чувствует.

Вот как получилось: бросился на меня, закрыл своим телом и принял на себя мину, летевшую прямо ко мне. И мина убила его. А я осталась жить.

Звали его Сергей Кукушкин, и за все то время, что я знала его, мне пришлось говорить с ним, может быть, всего-навсего раза три-четыре. И он ни о чем не подумал, не рассуждал, не побежал прятаться, а кинулся ко мне спасать.

Я все еще никак не могла привыкнуть к той почти неосязаемой порой легкости, с которой на фронте совершался переход от жизни в небытие. Бывало, я тащу раненого в медсанбат, и он по дороге умирает на моих руках. Только что, секунду назад он смотрел, думал, говорил — и вдруг нет его, конец, все...

Я часто думала: «Со мной такого не может быть! Как же я могу погибнуть?»

А смерть прошла рядом. И все-таки миновала, потому что Сергей Кукушкин заслонил меня собою.

Я встала с земли и вдруг осознала: он заново подарил мне жизнь. С каким-то особым чувством, словно раньше никогда не видела, я смотрела на пригорок, поросший зеленой, свежей травой, на взрыхленную снарядами землю...

Светило солнце, и трава, наверно, росла, потому что еще было лето и она не могла не расти, облака плыли над головой, теплый ветер шевелил мои волосы...

Я подошла к Сергею Кукушкину. Глаза его по-прежнему глядели в небо, и руки были еще теплые, возле ключицы темнело неровное, все более расплывавшееся пятно.

Не помню, что я кричала тогда. Кажется, только одно и то же:

— Сюда! Спасите его! Скорее!

Должно быть, санитары услышали меня, потому что его унесли, и я шла за ним и шаталась так, словно это я несла Сергея Кукушкина, ощущая нарастающую тяжесть его тела. И я падала и снова вставала и шла за ним, боясь потерять его, и опять падала, и опять поднималась...

Спустя какое-то время я узнала его адрес.

Он жил в Лосинке под Москвой. Был ему двадцать один год, на полтора года больше, чем мне, и работал он монтером. И дома остались мать с младшей сестренкой.

Кто знает, может быть, когда-то в той невозможно далекой, недостижимой жизни, когда не было войны, мы встречались с ним где-то на улице и проходили равнодушно мимо, не зная, что когда-нибудь настанет такой день, который свяжет нас воедино...

В следующем году, в августе, меня ранило под Курском. Я вынесла одного раненого, донесла до медсанбата, отправилась обратно, за следующим.

Вдруг что-то обожгло, как бы ужалило в руку. Поначалу я подумала, это ничего, просто показалось, и хотела идти дальше, но через минуту потеряла сознание от боли.

Потом были госпитали, сперва полевые, а после уже в тылу, в тихом городе Спасске под Рязанью. И ночи без сна, и дни, тянувшиеся томительно долго, и сырой запах постепенно твердевшего гипса на моей руке, который спустя какое-то время ломали, и опять принимались резать руку, и снова накладывали гипс, и лица врачей — старых, молодых, усталых, нарочито бодрых, склонялись надо мной, и я слышала, как они командуют сестрам, чтобы подали йод, шипцы, зажимы...

И кто-то привычно говорил:

«Еще немного, потерпи...»

А кто-то жалел непритворно:

«Такая молоденькая...»

Потом рана стала подживать, и рука снова обрела подвижность, и я училась шевелить пальцами заново, как будто раньше никогда не умела этого делать.

Я попала обратно в свою часть.

О неожиданное счастье! Командир дал мне отпуск на целых три дня.

Я решила непременно побывать у матери Сергея Кукушкина, увидеть ее, рассказать, как погиб сын.

Я не могла не встретиться с ней. Я считала — мать должна знать все, как было.

И все-таки было боязно. Хотя я и решила поехать к ней, а все равно было боязно, потому что я не представляла себе, как же это все произойдет. Как я начну говорить?

Я вскочила с постели, несмотря на холод, стала шагать по комнате, разговаривая сама с собой.

— Мне не холодно, — говорила я. — Мне совсем, совсем не холодно, ни капельки!

Этому когда-то научил меня Кот:

«Коли тебе плохо, старайся уговорить себя, что все хорошо».

Я спрашивала:

«А если у меня болит что-то?»

Он отвечал:

«Говори себе: у меня ничего не болит, и увидишь, болеть не будет».

Не знаю, может быть, он и умел уговаривать себя, а мне это никак не удавалось. Если болел зуб, то, скажи я себе даже сто тысяч раз: «Зуб не болит», — он все одно продолжал болеть.

Я забыла о холоде, потому что боялась встречи с матерью Кукушкина, и думала о том, как это будет. Какие найти слова?

Ведь для нее он не солдат, погибший геройской смертью, а сын, ее мальчик, которого она кормила грудью и который, наверно, был для нее самым красивым, самым умным.

Луна между тем зашла за облако, в комнате опять стало темно, и я поняла, рассвет недалек. Перед рассветом всегда наступает самая большая темень, словно ночь напоследок решает побороться еще раз, заранее зная, что не сможет не уступить дню.

Утром мы с Иваном Владимировичем снова уселись за стол на кухне пить чай. А потом он дал мне прочитать письма Кота с фронта.

Письма были короткие, на мой взгляд, излишне бодрые:

«У меня все хорошо. Я живой, здоровый, даже потолстел, а это мне совсем не нравится, потому что толстеть — значит стареть...»

Конечно, я понимала, он пишет так только для родителей, чтобы они не тревожились о нем, и все же меня как-то резанул ненатуральный лихой тон его писем. Впрочем, подумала я, он был такой всегда: не хотел, чтобы о нем беспокоились, никогда не жаловался, не ныл, а переносил все, что бы с ним ни случилось, молча, про себя.

Я была влюбчивой и впервые влюбилась в пятом классе в Диму Коркина, моего одноклассника. Но Дима, не подозревая о том, что я влюблена в него, как-то залепил мне снежком в ухо, и я до того разозлилась на него, что вся моя любовь разом кончилась.

В шестом классе мне понравился наш учитель физкультуры, щекастый красавец гигантского роста, щеголявший литыми мускулами.

Моя подруга Лиля Россиянова говорила о нем с придыханием:

«Не мужчина, а сплошной подарок...»

Однако «подарок» не обращал на меня никакого внимания и только однажды спросил во время тренировки по прыжкам:

«И чего ты такой хилjak? Каши, наверно, мало ела?»

Все засмеялись, громче всех смеялась Лиля, а я с того дня перестала дружить с ней и постаралась забыть о том, что была влюблена в «подарка».

Но та же Лиля, как-то случайно увидев Кота, спросила:

«Как же это ты до сих пор не влюбилась в него?»

«Не знаю,— ответила я.— Просто не думала об этом».

«Я бы влюбилась сразу,— сказала Лиля.— В него нельзя не влюбиться».

Кот казался мне старшим братом. С ним было надежно, он был добрый, сильный, никогда не обижал меня, а если

подсмеивался, то не обидно, и я первая смеялась вместе с ним.

Но слова Лили не прошли бесследно. Я стала смотреть на Кота уже другими глазами. И, учась в девятом классе, поняла: Кот самая что ни на есть настоящая любовь.

Само собой, я не решилась признаться ему, а он ничего не знал о том, что люблю его. Он поступил учиться в геологоразведочный, и ему стали часто звонить девушки, и я сама не раз подзывала его к телефону и слушала, как он назначал свидания то одной, то другой, а потом, побрившись, надев свежую рубашку, уходил гулять и по дороге дергал меня за косичку.

В такие дни он возвращался поздно. И я всегда просыпалась, когда он поворачивал ключ в замке. И представляла себе, как он гулял с очередной девицей, что говорил ей, как смотрел на нее своими светлыми смеющимися глазами.

За год до войны у Кота появилась уже одна, постоянная девушка, вытеснившая всех остальных.

Звали ее Оксана, она была высокая, под стать ему, бледная, неприветливая, с надменным лицом, которое казалось всегда немного заспанным.

Я поражалась: чем она могла понравиться ему?

Конечно, я ужасно ревновала его, а он и не подозревал, что я ревную, он был со мной таким, каким был всегда, и однажды я, осмелев, спросила его:

«Ты что, неужели любишь Оксану?»

Ямочка вспыхнула на его щеке, он засмеялся, не больно щелкнул меня по носу:

«Какие у нас малыши любопытные, сил нет...»

И пошел бриться в ванную, и я слышала, как он напевал:

В самом деле, в самом деле  
Все газели всё поели...

Ему было весело, а мне хотелось плакать.

И теперь я спросила Ивана Владимировича:

— Где Оксана?

— В Ташкенте, эвакуировалась вместе с матерью.

Я постаралась придать моему голосу самый безразличный тон:



— Они поженятся с Котом, когда он вернется?

Он ответил серьезно:

— Сперва надо, чтобы Кот вернулся.

Закурил свою трубку, а я начала мыть посуду.

Я тщательно перемывала чашки и блюда. Нехитрая эта работа, как бы возвращая обратно в довоенную жизнь, преисполняла меня давно не испытанным чувством покоя и мира.

В дверь постучали. Я побежала открывать. Вошла Галя Барташевич.

— Можно позвонить? — спросила и вдруг, оборвав себя на полуслове, остановилась. — Валя, неужто ты?

Как же она изменилась за эти неполные два года!

Нежные щеки впали, кожа казалась увядшей, возле глаз прорезались морщинки. Прекрасные волосы ее поредели, утратили свой блеск; теперь она их гладко зачесывала назад, скрепляя на затылке гребенкой.

Она поймала мой удивленный взгляд, тревожно спросила:

— Что, я подурнела, постарела? Скажи правду!

— Да нет, нисколько, — пробормотала я.

— Врешь, — сказала она с горечью, — я и сама знаю, что постарела. — Янтарные глаза ее казались печальными. — А ты как-то сразу возмужала.

— Значит, тоже постарела.

Она продолжала, не слушая меня:

— Только тогда, когда видишь детей, которые вдруг выросли, понимаешь, что старость все ближе и ближе.

Я ничего не ответила ей, словно чувствовала себя виноватой в том, что возмужала.

— Выходит, отвоевалась? — спросила меня Галя.

— Нет, я приехала на три дня.

— Завтра уже отбывает, — пояснил Иван Владимирович.

Она обернулась к нему:

— Можно позвонить?

— Сделайте одолжение, — сухо ответил он.

Телефонный аппарат висел в коридоре. Каждое слово Гали доносилось ко мне на кухню.

— Да, — говорила она, — это я. Узнал? Правда? Да, милый, очень. Я жду... Но почему? Прошу тебя! Неужели

не сможешь? А мне так хочется! Ну попробуй, умоляю! Я буду очень, очень ждать...

Иван Владимирович брезгливо скривил губы:

— Уговаривает.— Он встал со стула.— Ладно. Я пошел к себе, а то как начнет сейчас хвастаться своими достижениями на мужском фронте...

Галя снова вышла на кухню. С едва скрываемой жадностью посмотрела на снедь, расставленную на столе.

— Хотите чаю, настоящего, со сгущенкой? — спросила я.

— Хочу.

Я подогрела чайник, налила ей чай, подвинула молоко, сало, сухари.

— Ой,— сказала Галя, вздыхая,— сало! Я уже позабыла, как оно выглядит.

— Возьмите, отрежьте себе сколько хотите.

— А ты уже совсем большая, Валя, и говоришь, как взрослая.

— Мне двадцать лет, не так уж мало.

— Двадцать лет,— повторила Галя.— А мне сорок, только я всем говорю — тридцать четыре.

— Сорок тоже немного,— неискренне сказала я.

— Ровно в два раза больше, чем двадцать.

Вынула из кармана смятую пачку папирос, нагнулась над газовой горелкой, прикурила.

— Ты не куришь?

— Нет.

— А я вот приучилась.

Она стряхнула пепел прямо на пол. Я подумала: хорошо, что Иван Владимирович, великий аккуратист, не видит этого.

— Двадцать лет — самый цвет молодости. Наверно, уже влюбилась в кого-нибудь?

— Даже и не думала,— сказала я.

— Почему?

— Потому что война,— ответила я чуть резче, чем мне бы хотелось.

Она погасила папиросу, бросила окурочек в ведро возле раковины.

— А я, старая дура, все никак не могу остановиться.

Видно, она ждала, что я начну расспрашивать ее, а я молчала. Мне вдруг вспомнились слова Кота, ут-

верждавшего, что люди часто под влиянием минуты любят откровенничать, раскрывать душу перед кем угодно, а после обычно жалеют о своей откровенности и даже начинают порой ненавидеть того, кому открылись.

Но Гале хотелось говорить о себе. Она всегда любила рассказывать о своих поклонниках и успехах, если же разговор заходил о чем-то другом, мгновенно теряла к нему интерес.

— Подумай только, я опять влюблена. И знаешь, как это все случилось? Я была на трудфронте, на лесозаготовках. Это недалеко от Москвы, по Савеловской дороге. И он тоже был там. Он инженер. На два года моложе меня. То есть на самом деле на восемь лет, но он думает, что на два года.

— Это ничего, что моложе,— сказала я, потому что надо было что-то сказать.

Но она словно бы и не слышала моих слов.

— Конечно, женатый. Мне всегда везет на женатых. А жена никуда не эвакуировалась, наверно, боялась оставить одного. И он ее боится, как водится. Придет ко мне, то и дело на часы смотрит, как бы домой не опоздать. Ну скажи, Валя, легко мне все это?

Галя обращалась ко мне, словно к равной. А я не знала, что ответить. Впрочем, она сама спрашивала и сама отвечала.

— Каждый раз я его уговариваю — приходи, приходи! Хоть на час, хоть на сорок минут... Правда, ему тоже вырваться трудно, он же на казарменном. Он знаешь, где работает? На кондитерской фабрике «Марат». Они теперь выпускают витамины для фронта. Хочешь, угощу? Он мне иногда приносит.

— Нет, не хочу,— сказала я.

— Как хочешь. Только знаешь, я все понимаю, семья есть семья, но каждый раз вымаливаешь у него этот несчастный час...— Глаза ее потемнели.— А что мне делать? Ведь мне тоже хотелось бы иметь семью, чем я хуже других?

Я не знала, что сказать. И не знала, что посоветовать, чему научить.

— Очень боюсь старости,— сказала Галя, вынув новую папиросу.— Старость — это одиночество, а одиночеством я и так сыта по самое горло!

Закурила, задумчиво следя за голубым, слоистым дымом.

— Сколько их уже у меня было! И один похож на другого. Каждый придет, прошастает по коридору, чтобы его никто не увидел, этого они все, как один, боятся, а после выскочит из подъезда, поднимет воротник повыше и скорее побежит подальше, а сам оглядывается — вдруг жена его выследила? А я все одна. И в праздник одна, и в будни одна. Он с женой в кино, а я с подружкой или вовсе ни с кем и только дни считаю, когда он снова заглянет, и так с каждым получается, кого ни возьми.

Украдкой я глянула на часы. Мне уже пора было ехать.

Но Галя продолжала говорить дальше:

— Я вот что придумала. Я тоже теперь решила иначе действовать. Он придет ко мне, скажет, как всегда, что ему некогда, времени в обрез, а я ему тут же: «Милый мой, я тоже прямо как на иголках, мне до того некогда!»

Должно быть, вообразив себе, как это все будет, Галя засмеялась не без злорадства.

— Пусть тогда тоже раз в жизни и обо мне подумает! Пусть помучается, поревнует, куда это я тороплюсь. Верно?

— Верно,— сказала я и, уже не скрываясь, снова поглядела на часы.

— Тебе что, тоже некогда? — спросила Галя.

— Да, вроде того.

— Всем некогда, одной мне делать нечего,— сказала она.

— Разве вы не работаете?

— Работаю, конечно, с прошлого года перешла в райисполком, но мне сегодня к одиннадцати.

— А мне сейчас надо ехать по делам.

— Слушай, Валя, что я тебя попрошу...— Она замялась.— Ты не обидишься?

— Нет, а что?

— Если откажешь, я тоже не обижусь.

— О чем вы говорите?

— Дай мне кусочек сала с собой.

— Господи, да берите, конечно!

Она спросила обрадованно:

— Правда? Можно?

— Конечно, можно. Отрежьте сами.

— А тебе не жаль?

— Нет.

Она отрезала три тоненьких ломтика.

— Это для него. Угощу, когда придет. Он очень сало любит.

— Возьмите еще заварки.

Я отсыпала ей ложечку заварки.

Галя широко улыбнулась:

— Я ему сегодня пир устрою! Сегодня я ему еще ничего не скажу, а в следующий раз, как придет, сразу же ого-рошу, так прямо в лицо и выложу: «Прости, милый, мне очень некогда». Что тогда скажет? А?

Глаза ее блестели, словно видела она сейчас не меня, а того, с кем собиралась встретиться. Морщинки возле глаз казались глубже, все ее сорок тщательно скрываемых лет как бы разом вылезли наружу.

Как только Галя ушла, Иван Владимирович снова появился на кухне.

— Ну что? Наслушалась всяких баек?

— Было дело. А вообще жаль ее, какая-то она неприкаянная.

— У меня от нее морская болезнь.

— И все равно жаль ее,— повторила я.— И Кот, помню, тоже всегда жалел ее.

— Кот всех жалел.

— Я ухожу,— сказала я.

— Возьми,— он протянул мне ключи.— Может, придешь раньше меня.

— А вы когда будете?

— Наверно, к вечеру. У нас сегодня общее собрание ткацкой фабрики. А ты?

— Я тоже буду к вечеру,— сказала я.

\* \* \*

Дом стоял на Вокзальной улице. С виду самый обычный дом, два окна на улицу, два сбоку, палисадник, чахлый забор и снег, снег кругом, в палисаднике, на крыше, на заборе...

Я вошла в калитку. Из будки, которой я вначале не заметила, ко мне бросилась черная пушистая дворняжка. Сперва хорошенько облаяла, глядя прелестными выпуклы-

ми, совсем не злыми глазами, потом завиляла хвостом и подошла ближе. Почувствовала, что я люблю собак.

На крыльцо вышла девушка, одетая в стеганку, прикрикнула на собаку:

— Час, а ну перестань, слышишь?

— Что за смешное имя,— сказала я.— Почему Час?

— Это брат так назвал его, он нашел щенка года три назад в лесу в час ночи. Вот потому и Час...

Чем дольше я смотрела на нее, тем лицо ее все больше казалось мне знакомым. И вдруг я поняла: это же, очевидно, сестра Сергея Кукушкина.

— Вы что, к нам? — спросила она.

— Мне нужно к Кукушкиным.

— Идемте. Мы и есть Кукушкины.

Я прошла вслед за ней в сени. На стене висел велосипед с выгнутой, должно быть, не раз чиненной рамой.

«Наверно, велосипед Сергея»,— подумала я.

— Сюда идите,— сказала девушка, раскрывая дверь.

Небольшая комната встретила меня отрядным после мороза теплом. Топилась печь, облицованная кафельными плитками, белыми и голубыми. Почему-то мне подумалось, что Сергей сам укладывал плитки.

Возле дверцы, в которой уютно трещали дрова, стояла женщина, уже немолодая, в темной вязаной кофте. Отблеск огня окрасил ее лицо в розовый цвет или, может быть, лицо ее вспыхнуло при виде меня?

Так вот какая она, мать Сергея Кукушкина...

Она разглядывала мою шинель, серую бобриковую ушанку, а глаза ее, широко расставленные, схожие по цвету с глазами сына, как бы вбирали меня в себя, и я шагнула к ней, а она молча стояла возле печки и только смотрела, не опуская глаз. И сестра тоже смотрела на меня.

Наконец мать спросила:

— Вы кто? Оттуда?

Я кивнула.

Сестра подвинула мне стул.

— Разденьтесь,— сказала она.— Здесь тепло.

Я сняла шинель, и она взяла ее, повесила на крючок возле двери.

— Значит, ты была там вместе с Сережей,— сказала мать.

Села за стол, и я села напротив нее.

— Мы прошлым летом получили письмо...

Глаза матери были совершенно сухие. Сестра стала рядом с матерью, положив руки на ее плечо.

— У нас многие говорят,— сказала сестра,— на фронте бывает всякое: напишут, что погиб, а на самом-то деле...

Я не ответила ей. И мать поняла, что я знаю, как все было.

— Ты мне все расскажи, слышишь? — сказала она.

— Сережа погиб,— сказала я,— утром пятого июля сорок второго года.

Сестра вдруг всхлипнула, но мать строго сказала:

— Замолчи, Ольга!

Глянула на меня:

— Сама видела?

— Да. Он спас меня и погиб. От мины.

— Как же это все случилось?

— Он упал на меня и закрыл собой...

Мать встала, подошла к комоду, выдвинула ящик, вынула письмо в измятом конверте.

Раскрыла конверт, прочитала негромко:

— «Ваш сын погиб смертью героя за свободу и независимость своей Родины...»

Ольга заплакала. Должно быть, слова прочитанные матерью, как-то по-новому обожгли ее или просто ей подумалось, вот перед нами та, из-за которой погиб Сережа.

А мать не заплакала. Бережно сложила письмо, сунула его обратно в ящик комода. Я думала: что-то она сейчас чувствует? Вражду, ненависть, обиду за то, что я осталась жить, а его уже нет, никогда не будет...

Она снова села за стол.

— Ты дружила с Сережей?

— Да.

Сама не знаю, как вырвалось у меня это «да».

— Может, еще до войны дружила?

— Нет, мы познакомились на фронте.

— Он нам писал, что у них в части есть одна девушка.

Стало быть, это ты?

Я кивнула.

О какой девушке писал Сережа? Не все ли равно, теперь уже не узнать...

Но я решила держаться до конца. Наверно, думала я, им обеим будет легче жить дальше, сознавая, что Сережа успел полюбить кого-то там, на фронте.

Опустив голову, мать разглядывала узоры клеенки, покрывавшей стол, красные и серые, уже порядком стертые от времени. Она была, вероятно, немного старше Гали, но Галя судорожно боялась старости, а мать, видно, решилась и шагнула в старость без страха. Или, вернее сказать, просто не думала о близкой старости, потому что ей было не до того.

— Расскажи мне еще раз про Сережу.

Я молчала. Мать сказала сурово:

— Ты не думай, мы, Кукушкины, сильные, все выдержим.

Она слушала меня, не проронив ни слова. Потом сказала дочери:

— Поставь-ка чайник. Будем чай пить.

Сколько буду жить, никогда не забуду, как мы сидели втроем и пили чай.

Мать подала мне чашку первой:

— Это его чашка. Никто из нее не пьет, а тебе можно. Чашка была белая, с лиловой каемкой по краям.

— Ты сидишь на его месте,— сказала мать.— Он всегда здесь сидел.

Ольга сказала:

— Мама каждый день ставит на стол его чашку.

Имела ли я право сидеть на его месте и пить чай из чашки, из которой пил он?

— Подожди, я тебе сейчас покажу его тетради,— сказала мать.

Тетради были обычные, школьные, в косую линейку.

— Вот его сочинение. Помню, его тогда в роно на выставку отправили...

Сочинение он написал в седьмом классе.

«Самый счастливый день в моей жизни».

— Прочитай вслух,— приказала мне мать, и я стала читать. У него был разборчивый почерк, только иногда буквы в конце страницы сползали вниз.

— «Самый счастливый день в моей жизни был в пионерском лагере, когда я научился ездить на мотоцикле. Наш пионервожатый Костя Воробьев научил меня, и я сел на его мотоцикл и вдруг сразу понял, что машина послушна



мне. Тогда я дал газ и поехал к лесу. Я еще никогда раньше не был таким счастливым, как тогда...»

Я читала, а они обе, мать и Ольга, слушали меня и одинаково шевелили губами, как бы повторяя за мной слова, очевидно наизусть выученные ими.

— Он хотел накопить деньги,— сказала Ольга, когда я кончила читать.— Он, когда поступил на работу, все говорил: «Вот накоплю денег и куплю мотоцикл...»

— Только ничего у него не получилось,— сказала мать.— Он ведь был у нас главный, все как есть на нем, отец умер — ему и пяти лет не было...

— А это его велосипед висит в сених?

— Его. Сам собрал из какого-то старья.

— Он был на все руки,— сказала Ольга.— Сам крышу чинил, сам колодец чистил. Все умел.

Мать снова встала, подошла к комоду. Вынула из ящика альбом, старинный, покрытый потускневшим малиновым плюшем.

— Смотри, это он совсем еще маленький.

— Видишь, как был курносый, так и остался,— сказала Ольга.

— Весь в отца пошел,— задумчиво сказала мать.— А здесь он уже когда в школе стал учиться, в первом классе.

— В той самой школе,— вставила Ольга,— где мама работала техничкой.

— Да, тридцать лет проработала, а теперь в госпитале, в Мытищах, санитаркой.

— Рабочую карточку дают,— сказала Ольга.

— Он тебе рассказывал, как ногу сломал? — спросила мать.

— Кажется, нет.

— Это он крышу красил, да не удержался, сверзился. Целых два месяца на костылях ходил.

— А знаешь, его однажды с урока географии выгнали,— сказала Ольга.— Он тогда в шестом классе учился. Вышел к доске, учительница говорит: «Покажи мне на карте Индийский океан», а он ищет, ищет, никак отыскать не может. Потом говорит ей: «Такого океана нет, есть Великий, или Тихий, есть Атлантический и Северный Ледовитый, а Индийского нет». А она у нас очень нервная была, спрашивает его: «Так что же, я сама

выдумала Индийский океан?» Сережа вдруг как ляпнет: «Может, и правда сами выдумали».

— Он очень обиделся на учительницу за то, что выгнала его из класса,— сказала мать.— Даже в школу не хотел идти, едва уговорила его...

— А помнишь, мама, как ты его крапивой огрела?

— Как не помнить. Он тогда купаться ушел с ребятами, все вернулись, а его нет. Я просто с ума чуть не сошла, бегаю по поселку, ишу его... Гляжу, в десять вечера является. «Я, говорит, в Москву ездил, на метро катался». Ну, тут я его как вытяну крапивой.

Мать отпила глоток остывшего чая из своей чашки.

— Вот теперь как вспомню, до того жаль его.

— А он смеялся,— сказала Ольга.— Ты за ним с крапивой бегаешь, а он смеется.

— Он у нас был веселый,— сказала мать.— И заботливый. Первую получку принес мне, вот сюда на стол положил, говорит: «Давай, мама, купи себе все, что хочешь»,— а денег-то всего ничего, и не знаешь, какую дыру прежде заткнуть.

— Он всю получку маме сполна отдавал,— сказала Ольга.

— Смотри,— мать показала мне карточку,— это он снялся, когда работать пошел.

Он был на всех фотографиях одинаковый, такой, каким я запомнила его,— светловолосый, с широко расставленными глазами.

Из года в год, я видела, мужало его лицо, вместо короткого ежика появился косой пробор в волосах, тверже становился овал.

— Он любил сниматься,— сказала Ольга.— Бывало, говорит: «Вот стану совсем старый, увижу на фото, каким был в молодости, сам себе позавидую».

— Ты любила его? — помолчав, спросила мать.

— Любила.

— И он тебя тоже?

— Конечно.

— Сережа не умел кривить душой,— сказала Ольга.— Если любил, так любил, это уж точно.

Они вспоминали о Сереже, перебивая друг друга, должно быть находя в своих воспоминаниях горькую отраду. И жизнь этого человека, которая до того была

совсем мне неизвестна, вдруг раскрылась передо мной так, словно я вплотную прикоснулась ко всем тем годам, что он прожил без меня.

Я видела его школьником, который не мог отыскать на карте Индийский океан и написал сочинение о самом счастливом дне своей жизни. Видела на мотоцикле, когда он впервые ощутил машину послушной его рукам и поехал в лес, и ветер гудел в ушах, и руки его крепко держали руль.

Видела, как он собирает велосипед и взбирается на крышу, чтобы покрасить ее, и ходит потом на костылях и, наверно, боится, что на всю жизнь останется хромым. И приносит матери получку, чтобы она купила себе все, что хочет...

Мне уже не было совестно оттого, что я назвалась его любимой, потому что я и в самом деле полюбила его.

Был уже вечер, когда я собралась домой.

— Я провожу тебя,— сказала Ольга.

— И я с вами,— сказала мать.— Мне все равно скоро уже на ночное дежурство, в госпиталь.

Мы вышли в палисадник. Черный пушистый Час, восторженно лая, бросился к нам.

— Он чувствует, что ты от Сережи,— сказала Ольга.— Он знаешь, какой умный?

Мы шли гуськом по дороге, ведущей на станцию. Час бежал впереди, поминутно оглядываясь на нас.

Времени было еще достаточно, до поезда целых девять минут.

— Значит, завтра обратно на фронт? — спросила мать.

— Да. В двенадцать ноль-ноль надо быть на вокзале.

Мать остановилась, и я остановилась тоже.

— Господь с тобой.— Мать широко перекрестила меня.— Смотри пиши нам.

— Конечно, буду писать.

— Адрес запомнила?

— Еще бы!

Вдали послышался шум поезда.

— Счастливого тебе, Валя,— сказала Ольга.

А потом мать положила мне руки на плечи. В темноте слабо белело ее лицо. И глаза казались необычно большими.

— Будь здорова, дочка,— сказала мать и прижала меня к себе.

Я не хотела плакать, я держалась весь день как могла, потому что мать тоже не плакала, а тут слезы против воли покатались по моим щекам, и я целовала ее лицо, руки, волосы, и опять плакала, и говорила какие-то слова, теперь уже и не помню, какие...

Она все молчала, не отрывая от меня глаз...

И вдруг сказала:

— Если бы у тебя ребенок от Сережи остался...

Тяжело дыша, поезд подошел к платформе и остановился, замер на минуту.

В последний раз я обняла мать, потом вскочила в вагон. И вагон тут же тронулся.

## Новый район

### 1

Всю жизнь я прожила на Масловке, в деревянном доме. Позади дома был сад, там росла сирень, были еще яблони, несколько вишневых деревьев и четыре очень старых березы.

А этой весной мы переехали в новый район, в Беляево-Богородское, и все соседи тоже переехали, потому что наш дом должны были ломать.

Я не хотела переезжать. Я привыкла к светелке, так я называла свою комнату под самой крышей, у нас была такая квартира: двухэтажная, две комнаты внизу, одна наверху, узенькая, с покатым потолком. Привыкла к саду, где у меня были свои любимые уголки. Они все были отмечены чем-то памятным для меня с самого детства: вот под этой яблоней я когда-то похоронила птичку, которую вырвала у нашего кота Барсика; вот здесь, возле забора, где росла одичавшая малина, я обычно пряталась, приходя из школы, когда получала плохие отметки. Посижу, бывало, подумаю, вроде успокоюсь, а тогда уже можно и показаться дома.

И еще была у нас, ребят, живших в доме, традиция: перед экзаменами съесть по десять лепестков сирени:

если съешь, тогда непременно сдашь экзамен, какой бы трудный ни был. Мы все свято выполняли этот уже не помню кем выдуманный обычай, а мой дедушка ругался: «Всю сирень оголили, бездельники!»

Дедушка был папин папа, жил вместе с нами, а папа работал монтажником, ездил по разным городам, на заводы, ненадолго приезжал домой и снова уезжал, и мы опять оставались втроем.

Дедушка, случалось, упрекал маму:

«Как же так жить можно? Семья — она и есть семья, стало быть, надо быть всем вместе».

И я соглашалась с ним, потому что скучала по папе, но мама не хотела ездить с папой. Прежде всего она считала, что я должна учиться в одной и той же школе и окончить ее, и потом, мама работала, она преподавала в музыкальном училище, учила играть на рояле, как она говорила, музыкально одаренных детей, будто бывают училища для музыкально неодаренных.

Сама я не была одаренной ни в чем. Так, обыкновенный, рядовой середняк. Что же касается моих отношений с музыкой, то мама говорила:

«Безнадежно неспособна».

Когда-то, когда я еще училась во втором классе, мама вздумала учить меня играть на рояле, садилась возле меня, заставляла повторять одни и те же гаммы и все время поправляла:

— Держи кисть свободнее. Распрями пальцы, не напрягай руку...

А у меня кисть, как нарочно, не хотела быть свободной, и пальцы оставались напряженными, и в конце концов мама отказалась от своей затеи, к великой моей радости.

— Если человек неспособный и к тому же ленивый, ничего с ним не поделаешь, — определила мама.

Я не была ленивой, просто неспособной. Не всем же быть способными, такими, как Антон Пугачев.

Антон жил в соседней квартире. Сперва мы ходили с Антоном в один и тот же детский сад, потом вместе поступили в школу, учились в одном классе. Нас считали друзьями, и мы с ним дружили, хотя и часто ссорились, но потом все равно снова мирились.

Я училась по математике лучше его. Зато он был то,

что называется, музыкально одаренным. Это первая заметила моя мама еще три года тому назад. Мы сидели как-то с Антоном в саду на скамейке, и я заставляла его решать задачи по математике. Через два дня предстояла письменная, и надо было хотя бы немного поупражняться решать задачи.

Я писала условия задачи, а он зевал и смотрел куда-то в сторону и все время напевал что-то про себя.

Я сказала:

— Ты бы лучше не пел, а поглядел, что я пишу.

— Мне хочется петь,— ответил он.

— Тогда идем в дом,— сказала я.— Может быть, дома перестанешь петь.

Он послушался, и мы пошли к нам. А моя мама сидела за роялем, что-то играла. И Антон подошел к роялю и весь застыл, глядя на мамины руки.

— Ну как? — спросила его мама.— Тебе нравится то, что я играю?

— Не очень,— сказал Антон.— Вот вчера вы играли что-то очень хорошее.

— Что же? Напомни.

— Я не знаю, как это называется, я лучше спою.

И Антон стал петь, и я увидела — мамины глаза вдруг расширились, а брови поползли вверх.

— Вот это да! — сказала мама.— Ведь все верно с начала до конца. А ты знаешь, как называется то, что ты пел?

— Нет, не знаю.

— «Патетическая соната» Бетховена.

— «Патетическая соната» Бетховена,— повторил Антон.

— Спой еще что-нибудь,— попросила мама.

— А что вы хотите?

— Что ты еще запомнил из того, что я играю?

Антон подумал и сказал:

— Может, вот это?

И опять запел, и пел долго, должно быть, целых пять минут, и мама сказала:

— Вот это слух! Ведь ты же спел «Балладу» Шопена. Посмотрела на меня, словно я в чем-то виновата.

— Был бы у тебя такой слух!

А я сказала:

— И без слуха жить можно.

С того дня мама решила учить Антона музыке.

Антон жил вдвоем со своей мамой. Она работала медсестрой в Боткинской больнице, и у нее было странное имя: Зиновия. Не Зинаида, а Зиновия Семеновна. Она была худенькая, светловолосая, на вид слабенькая, и только руки у нее казались очень крепкими, сильными. Когда я смотрела на ее руки, мне представлялось, что она заняла их у кого-то куда более рослого и сильного, чем она сама.

Антон был похож на свою маму: те же серые, в чуть припухших веках глаза, широкие брови и нервный, большой рот, который у него немного кривился, когда он разговаривал.

Зиновия Семеновна сказала моей маме:

— Конечно, я понимаю, это хорошо, когда у человека есть слух.

— У человека незаурядные способности к музыке,— сказала мама.

Зиновия Семеновна зачем-то сняла с шеи свою косынку и стала перебирать ее своими сильными пальцами. Потом призналась:

— Только, понимаете ли...

— Я все понимаю,— перебила ее мама.— Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем. Поверьте, учить такого мальчика, как Антон, одно удовольствие!

Я не выдержала:

— Ну уж удовольствие! Он ведь ленивый. Попробуй заставь его решить хотя бы одну задачку!

Мама строго посмотрела на меня:

— Самое нехорошее чувство — это зависть. Запомни, Катя!

Мне стало совестно. Мама была права. Конечно же, я завидовала. Совсем немного, а все-таки...

И Антон стал приходить к маме, и она учила его, и он приходил еще тогда, когда она была в училище, и садился за рояль, играл на нем упражнения, которые она ему задавала. Мама говорила, что сперва подготовит Антона дома, а после возьмет его в свое училище для музыкально одаренных детей.

Я спрашивала Антона:

— Скажи правду, ты хочешь учиться в этом самом училище?

— Хочу,— ответил он.

— Все-таки это все как-то странно. Можешь себе представить, в училище все, от самых маленьких до самых больших,— сплошь музыкально одаренные!

Он говорил:

— А я как-то не думал об этом.

— А я думала. И каждый считает себя гением или очень большим талантом, по крайней мере, и еще считает, что он гениальнее всех.

— Пусть считает,— отвечал Антон.

Я радовалась за Антона. Когда я слышала, как мама хвалит его, я гордилась им, вот какой у меня друг, и все же, признаюсь, завидовала. Совсем немного, потому что мама была права, зависть — нехорошее чувство. И все-таки я ловила себя порой на том, что и мне бы хотелось учиться играть и чтобы мама хвалила меня за то, что я способная. Может быть, это и была никакая не зависть, просто, глядя на Антона, мне думалось — хорошо, если б и я была музыкально одаренной.

У меня были подруги в школе, и в нашем доме тоже жили две мои подруги, но все же больше всех я дружила с Антоном. Мне было с ним интересно. Он много читал, все больше детективы, и потом рассказывал мне, но обычно рассказывал не до конца. Он говорил:

— А теперь угадай, кто же на самом деле убийца.

И я пыталась угадать, но почти всегда ошибалась.

Антон любил собак и кошек, постоянно приводил с улицы то брошенного кем-то щенка, то покинутого котенка, и Зиновия Семеновна нещадно ругала его, потому что они жили в одной комнате и у них было и без того тесно. Но Антон все равно продолжал подбирать собак и кошек, а потом мы с ним писали объявления и наклеивали их на дома на соседних улицах.

«Отдается щенок очень хорошей породы,— писали мы.— Послушный и красивый. Наверняка будет отличный сторож».

Или еще писали:

«Кому нужен пушистый котенок безусловно сибирской породы?»

И мы радовались, когда удавалось пристроить щенков и котят, и Антон снова находил бездомных и снова брал к себе, и мы опять пытались их пристроить.



Отца у Антона не было, он умер, когда Антону было три года. Антон уверял меня, что помнит отца, а мне думалось, вовсе он его не помнит, просто ему кажется, что помнит.

Антон хотел поскорее вырасти, начать работать, чтобы помочь своей маме. Она работала в больнице на полторы ставки, часто дежурила по ночам, но денег все равно не хватало.

— Когда я буду большой, я куплю машину «Москвич», и мы поедem с мамой на юг,— говорил Антон.

— А без машины что, никак не сумеете? — спрашивала я.

— На машине интересней. Я поведу машину, а мама будет сидеть рядом, и мы с ней поедem по шоссе Симферополь — Москва и по дороге будем покупать яблоки, вишни, ряженку, и мама ничего делать не будет, только сидеть возле меня и смотреть на дорогу...

— Кем ты будешь, когда вырастешь? — спрашивала я.

Поначалу Антон думал стать дрессировщиком зверей в цирке, потом решил, что будет работать в уголовном розыске, ловить преступников, но, с тех пор как моя мама стала учить его музыке, он сказал мне:

— Буду пианистом и буду давать концерты, на улицах будут висеть афиши, и на них вот такими буквами: «Пианист-исполнитель Антон Пугачев. В программе Бетховен, Шопен, Глюк, Рахманинов».

А я говорила:

— Ты счастливый, ты знаешь, чего хочешь, а я до сих пор не знаю, кем быть.

— Давай попробуем выберем вместе,— предлагал он.— Хочешь быть архитектором?

— Нет, охота была, это очень трудно...

— А учителем?

— Вот уж никогда!

— Ну артисткой?

— Это, конечно, лучше, но артистки же все красивые.

Он старательно оглядывал меня с ног до головы.

— Да, конечно, ты не самая красивая.

Я, разумеется, знала, что я не самая красивая, и все же слова Антона обижали меня.

— Тоже мне какой красавец нашелся!

Мы ссорились и потом снова мирились, и Антон признавался:

— Знаешь, Катя, ты не сердись, только я не могу лгать. Что есть, то есть...

И я, хочешь не хочешь, признавала его правоту. В конце концов, это все-таки хорошо, когда человек не признает лжи и всегда старается говорить только правду.

## 2

Слухи о том, что наш дом будут ломать, поползли еще зимой.

Слухи то угасали, то вновь начинали оживать. Время от времени являлись какие-то люди с портфелями, которых называли инспекторами, обходили квартиры, спрашивали, сколько здесь проживает людей и с какого года. Потом они опять исчезали, и о них забывали и не вспоминали до тех пор, пока они не появлялись опять.

Многие жильцы полагали, так оно все и будет, походят и перестанут, тем дело и кончится. А весной, сразу же после майских праздников, нам всем объявили: дом будут ломать и к июню здесь не должно оставаться ни одного человека. Всех переселят в разные районы, в новые дома.

И кто радовался этому, а кто огорчался, как оно всегда и бывает, когда в жизни случается какая-то перемена.

Пожалуй, больше других сокрушалась Агния Сергеевна Усольцева, врач районной поликлиники. Она работала в нашем районе лет пятьдесят, никак не меньше, и, должно быть, все семьдесят, со дня рождения, прожила в нашем доме.

Агния Сергеевна говорила о себе:

— Я в своей жизни исходила, должно быть, с миллион лестниц, а может, и целых два миллиона!

И вправду, в дождь ли, в холод или в зимнюю непогоду, она вышагивала по окрестным улицам, спеша к больным, и, когда я встречала ее, торопливо спешившую на вызовы, мне казалось, в нашем районе особенно много больных.

Прошлым мартом Агния Сергеевна ушла на пенсию. Провожали ее торжественно: в поликлинике устроили вечер в ее честь, выступали и врачи и пациенты, наверно, такие, которые особенно часто болели, и все говорили

о ней одно лишь хорошее, хвалили ее за безотказность, добросовестность, умение поставить точный диагноз, надарили всяких подарков, а потом усадили в «Победу», на которой ездили врачи «неотложки», увитую первыми мимозами и яркими лентами, и доставили Агнию Сергеевну на этой самой «Победе» домой, хотя поликлиника находилась в переулке, совсем рядом. Мы, ребята, собрались возле дома и смотрели, как она вылезает из праздничной, в цветах и лентах, машины, и Антон сказал:

— Если бы это была «Волга», а к «Волге» привязали еще бы куклу, то совсем как свадьба...

Я засмеялась, и все ребята тоже засмеялись, потому что очень смешно было представить себе седую, старую Агнию Сергеевну невестой в нарядном платье и с тюлем на голове.

А на следующее утро Агния Сергеевна пришла к нам, села напротив мамы и сказала:

— До чего же это все непривычно...

— Что непривычно? — спросила мама.

— Некуда спешить, никого не надо навещать.

— Вы хорошо и плодотворно поработали за свою жизнь, — сказала мама. — Теперь отдыхайте на здоровье.

Вошел мой дедушка, протянул обе руки Агнии Сергеевне.

— Вчера, — сказал дедушка, — я был в поликлинике и слушал, как вас хвалили.

— Что же вы, папа, не выступили и не похвалили тоже? — спросила мама.

— Я хотел выступить, но до меня очередь не дошла.

Агния Сергеевна молча разглядывала свои руки, жесткие, с шероховатой кожей от частых умываний, уже совсем старенькая, лицо в морщинах и шея тонкая-тонкая.

Сказала, не поднимая головы:

— Юбилей — это, по сути, подготовка к некрологу. Особенно тогда, когда уходишь на пенсию.

— Будет вам! — сказал дедушка. — Я, к примеру, вышел на пенсию лет пятнадцать тому назад и до сих пор ни о каком некрологе и думать не думаю!

Она покачала головой:

— Представляю себе, что не надо никого лечить, ни к кому не идти на вызов...

Мама с дедушкой переглянулись, а мне вдруг стало жаль Агнию Сергеевну. Ведь теперь, несмотря на все добрые слова и подарки, она внезапно оказалась уже никому не нужной, а до сих пор, всю свою жизнь, привыкла считать себя нужной, и так оно и было на самом деле.

Я сказала:

— Если я заболею, буду лечиться только у вас.

Мама озабоченно спросила:

— А что, плохо себя чувствуешь?

Я хотела сказать правду, что все у меня в порядке, но неожиданно для самой себя пожаловалась:

— Что-то сегодня голова болит и горло тоже вроде немного.

Мама испуганно посмотрела на меня, потом взглянула на Агнию Сергеевну. В раннем детстве я часто болела ангиной, и мама боялась, вдруг у меня опять ангина. Агния Сергеевна сразу все поняла и сказала:

— Давай ложечку, открой рот пошире, я тебя сейчас поисследую.

К радости мамы, я оказалась совершенно здоровой, и в горле не было ни одного налета. Впрочем, я это и так знала.

И я подумала: если бы Антон был здесь, даже он не стал бы ругать меня за мою ложь. Хотя он не признавал лжи, но все равно не стал бы ругать, а, может, тоже попросил бы Агнию Сергеевну посмотреть и его горло.

Когда стало известно, что дом непременно будут ломать, Агния Сергеевна явилась к нам.

— Как же так? — возмущенно спросила она. — Тут все кругом мои пациенты, я же всех с самого их детства знаю, а кому я буду нужна там, на новом месте?

Мой дедушка, любивший всем в глаза говорить все то, что думает, спросил ее:

— Неужто вам, любезнейшая, не все равно? Нам, пенсионерам, что здесь жить, что где-нибудь в Чертанове или в Нижних Котлах — все едино!

— Мне не все едино, — с достоинством ответила Агния Сергеевна.

Она и теперь, выйдя на пенсию, продолжала навещать бывших своих больных: они по привычке обращались

к ней, и это был и остался, должно быть, единственный смысл всей ее жизни.

И вот настал день, и пришлось всем жильцам нашего дома переезжать. Агния Сергеевна переехала на проспект Мира, Антон с его мамой и мы переехали в один дом, в Беляево-Богородское.

Это было необыкновенно удачно, что мы снова оказались с ним в одном доме: они получили однокомнатную, а нам дали целых три комнаты с раздельным санузлом и большой лоджией, на которой дедушка сразу же решил развести цветы.

Правда, район был новый, необжитой и такой далекий от родной нашей Масловки! Зато там был хороший лес, еще лучше, чем наш Тимирязевский, деревья доходили почти до нашего дома, и утром я просыпалась от пения птиц совсем как, бывало, на Масловке.

Пришлось нам с Антоном записаться в новую школу. Антон утверждал:

— Все новое интересно.

А я не соглашалась. Я скучала по нашей школе, по своим подругам.

Но Антон уверял меня, что в конце концов я привыкну, иначе и быть не может. Впоследствии так оно и оказалось.

Антон продолжал учиться у моей мамы. Он уже играл мазурки Шопена и прелюды Рахманинова. И, как и раньше, приходил к нам упражняться на рояле. Я слушала его с удовольствием, потому что слушать прелюды и мазурки было куда интереснее, чем гаммы.

Мама говорила:

— В следующем году будешь поступать в наше училище.

Я дразнила Антона, что он будет учиться среди сплошных гениев и сам вообразит себя гением и тогда к нему и на козе не подъедешь.

Антон спокойно выслушивал меня.

— Мне повезло, что мы с тобой в одном доме.

— Не со мной, а с моей мамой,— уточняла я.

— И с твоей мамой,— соглашался Антон.— И с тобой.

И я знала, он говорит правду. Он всегда говорил одну правду.

Квартира наша была чистенькая, вся словно с иголки, но потолки были низкие, а комнаты куда меньше, чем в старом доме. Мама поставила рояль в своей комнате, самой большой в квартире, и рояль занял почти все пространство, просто повернуться негде было.

Но мама говорила, что все равно, тесно или просторно, а с роялем она ни за что не расстанется, — как ни говори, это ее орудие производства.

Маму все считали оптимисткой. Во всем, что бы ни происходило, она постоянно старалась отыскать хорошую сторону.

Наш переезд достался ей труднее, чем всем нам. Теперь маме приходилось тратить на дорогу до училища на целых два часа больше, чем раньше, но она отвечала на соболезнующие расспросы бабушки одинаково весело:

— Ничего, все это дело привычки. Ведь надо только добраться до метро, а как добралась до метро, уже не страшны никакие расстояния.

Так говорила мама, забывая о том, что, прежде чем попадешь в метро, надо ехать автобусом минут двадцать, а от нашей станции метро до ее училища тоже никак не меньше часа.

Мне иногда казалось, что мама стала оптимисткой скорее из-за меня и бабушки. Мы с ним вечно жаловались то на одно, то на другое, а мама говорила:

— Я единственная, кто может вас убедить, что все обстоит прекрасно.

Так оно и было. Бабушка возмущался тем, что в здешних магазинах нет парного мяса, а мама в ответ заявляла:

— Зато здесь есть можайское молоко и творог, какие нам на Масловке и не снились...

Я не могла привыкнуть к маленьким комнатам и к низким потолкам. Казалось, они давят на меня, а мама убеждала:

— Маленькие комнаты куда уютнее.

Должно быть, и ей не все нравилось, но она, отдавая нам свой запас бодрости, не становилась от этого беднее, казалась всегда всем довольной и уговаривала меня и бабушку, что все хорошо, лучше и быть не может.

Я еще ничего не сказала о папе. Папа отличался по-

кладистым характером, не в дедушку, однако был упрямый, и мама считала, если бы он жил с нами постоянно, они бы с ним могли спорить, даже порой ссориться, но так как папа, сколько я помню, недолго жил дома, а больше разъезжал, то мама с папой не ссорились и даже ни о чем не спорили.

Мама написала папе, что мы переехали на другую квартиру, в новый район, и папа ответил телеграммой:

«Приеду, погляжу, как вы живете, если мне не понравится, надо будет подыскать обмен, потому что я тебя знаю, тебе всегда все хорошо».

И еще он написал в телеграмме, что желает мне хорошо сдать экзамены и перейти в следующий класс.

Папа не любил писать письма, отделялся только телеграммами, но его телеграммы можно было скорее назвать письмами; он писал подробно и длинно, со всякими словами вроде «потому что», «конечно», «так как», которые обычно в телеграммах не принято писать.

Однажды он прислал нам телеграмму, поздравлявшую с Новым годом, и мы с мамой сосчитали, там было сто семьдесят семь слов. Мама смеялась, подсчитывая слова, а дедушка укоризненно гудел:

— Денег ему не жаль, баламуту! Это где же такое видано, чтобы по телеграфу передавать такое?

И дедушка громко, с выражением читал:

— «А еще, Катя, имей в виду, что когда я учился в школе, то лучше всего мне давалась математика, выходит, ты в меня, а со слухом у меня тоже были нелады, и потому, я думаю, ты не будешь учиться в мамином училище для молодых дарований».

Я показала тогда эту телеграмму от папы Антону, и Антон долго перечитывал ее. Я видела, он прочитал до конца и снова стал читать, дошел до последних слов и опять принялся за начало. А после отдал мне телеграмму, сказал:

— Широкий человек твой папа!

Я хотела было ответить: «Не завидуй, зависть — плохое чувство», — но глянула в его глаза и промолчала. Нет, подумала я, ничего говорить не надо.

Мы ждали папу каждый день, и он приехал однажды в начале июля. Я уже давно кончила учиться и через несколько дней собиралась ехать в пионерский лагерь.

Как-то рано утром раздался длинный, настойчивый звонок.

Мама вскочила с постели, бросилась открывать дверь. За мамой побежала я, за мной дедушка. Мы знали, так звонить мог только папа.

— Едва нашел вас,— сказал папа.— Ну и занесло же вас, на самый край Москвы!

Он загорел, отпустил длинные пшеничные усы и, как мне показалось, даже стал немного выше ростом.

— Я только с самолета,— сказал папа.

— Тогда первым делом ступай в ванную,— сказала мама.

Я сказала с гордостью, которую и не пыталась скрывать:

— У нас теперь ванная.

На старой квартире ванной не было.

Папа вошел в ванную, очень узкую комнату, даже я с трудом умещалась в ней.

— Ну и ну! — сказал папа.— Для кого только такие ванны строят?

— Ерунда,— ответила мама.— Уверю тебя, сумеешь превосходно помыться.

— Эти мне оптимисты,— усмехнулся папа, закрыл за собой дверь, и мы услышали, как с грохотом упал таз, стоявший около ванны, и, кажется, рухнула полочка для мыла.

И дедушка сказал:

— Конечно, квартира у нас как игрушечная...

— Зато сколько солнца,— возразила мама.

Потом мы уселись в лоджии за столом, пили чай, и папа сказал, что лоджия, в общем, штука неплохая, пожалуй, только она одна и может как-то примирить его с этой кукольной квартирой.

Папа прилетел из Волгограда, где он монтировал поточные линии на машиностроительном заводе. Я не могла себе представить, как это можно монтировать какие-то линии на заводе, в цеху, и вообще, что такое эти самые поточные линии?

Папа сказал:

— Монтировать — значит устанавливать, а поточные линии — это конвейер.

И больше, сколько я ни просила, не стал ничего объяс-



нять. Папа любил больше слушать, чем говорить, он был многословен только лишь в телеграммах.

Когда мы выпили чай, папа сказал маме:

— Давно я не слышал, как ты играешь...

— Что тебе сыграть? — спросила мама.

— Сперва мою любимую.

Мама села за рояль, а папа стал протискиваться между тумбочкой и шкафом, чтобы сесть в кресло.

— Как нарочно, квартира, прямо скажем, не по моим габаритам, — заметил папа, то ли сердясь, то ли улыбаясь.

— Не ворчи, — сказала мама.

Папа уселся в кресло, а мама стала играть папину любимую «Землянку».

Мама играла с чувством, иногда оборачивалась, взглядывала на папу, и он поначалу подпевал ей, а потом вдруг замолк. И мы с мамой увидели, что он спит.

Мама перестала играть, а папа тут же проснулся, спросил:

— Почему ты не играешь? Я же слушаю!

И мама опять стала играть, а папа тут же опустил голову и снова задремал.

Но, как только мама обрывала игру, он немедленно просыпался и требовал, чтобы она играла еще.

И она все время играла одну и ту же папину любимую «Землянку».

Папа прожил с нами неделю. В конце концов и он за эту неделю постепенно привык к новой квартире и даже стал, подобно маме, утверждать, что маленькие комнаты и вправду уютнее, чем большие.

Он ходил со мной в лес, и мы с ним собирали грибы. Он сказал, что, конечно, нельзя сравнивать этот лес с Тимирязевским: там, в Тимирязевском, отроду не росло ни одного гриба, а здесь прямо как в настоящей деревне.

Папа сказал, что надо устроить новоселье. Так полагается, это же все знают. Мама сказала:

— Несколько запоздалое новоселье...

Но папа возразил:

— Лучше поздно, чем никогда.

И мы стали готовиться к новоселью. Мама навезла всяких вкусных вещей из центра, дедушка купил на рынке в Черемушках клубники, черешни и грузинских

помидоров, очень красивых с виду, но невкусных и ужасно дорогих. Папа купил вина и фруктовой воды.

В субботу вечером пришли гости. Мы усадили их в дедушкиной комнате, она была меньше маминей, но больше моей, однако в маминей комнате стоял рояль, а в дедушкиной мы поставили стол, недавно купленный мамой, очень удобный, с отвинчивающимися ножками. Обычно он стоял в лоджии, а мы обедали на кухне, за маленьким столом.

Гостей было немного: Антон с мамой, Агния Сергеевна, которую дедушка специально ездил приглашать на проспект Мира, и еще должна была прийти мамина приятельница Алла Петровна.

Алла Петровна вместе с мамой преподавала в училище.

Агния Сергеевна, как мне показалось, постарела, как-то вся ссохлась. Должно быть, она скучала на новом месте, хотя ей, как заслуженному врачу, дали хорошую однокомнатную квартиру в кирпичном доме, с потолком не в пример нашему высотой в три метра. Но Агния Сергеевна, как только пришла, сразу же нам заявила, что охотно поменялась бы в наш район, не поглядела бы на то, что дом блочный, ни на потолок в два семьдесят, только бы быть поближе к старым друзьям.

И дедушка, внезапно растрогавшись от этих ее слов, клятвенно пообещал, что непременно отыщет для нее подходящий обмен.

Последней пришла мамина сослуживица Алла Петровна.

Не знаю, может быть, она и была красавица, во всяком случае, держала она себя так, как могла бы держать только самая заправская красавица. Остановилась в дверях, постояла немного, чтобы мы все вдосталь полюбовались ею, потом с улыбкой оглядела нас.

— Вот и я,— сказала, картинным жестом поправляя челку на лбу.

— Мы вас заждались, Аллочка,— сказала мама.

— К вам добираться — легче уж напрямик в Тулу или в Ясную Поляну,— ответила Алла Петровна и первая засмеялась, хотя, по-моему, не было ровно ничего смешного в том, что она сказала.

Мне она не понравилась с первого же взгляда.

Она была худой, высокой, почти такого же роста, как мой папа. Одета в яркое платье, что-то синее, малиновое и лиловое, не то полосы, не то какие-то зигзаги. На шее бусы. На руках по два браслета. В ушах длинные серьги.

На низкий лоб спускалась густая темно-рыжая челка, веки обведены синим, пышные губы намазаны малинового цвета жирной помадой. Нижняя губа толще верхней; кажется, такие вот губы принято называть капризными.

Она подняла руки, бренча браслетами, расчесала волосы. Серьги ее сверкали при каждом движении, бусы перламутрово переливались, и вся она казалась какой-то яркой, с блестящим оперением птиц.

Я спросила Антона:

— Она тебе нравится?

Он ответил не сразу:

— Еще не успел разобраться.

— А все-таки?

— Вроде скорее нет.

— И мне тоже нет.

А она оглядела меня с головы до ног, словно догадывалась, что я говорю о ней, подозвала к себе своей брнчащей рукой.

— Подойди ко мне, Катя. Я давно уже хотела с тобой познакомиться.

Я подошла.

— Ты учишься в седьмом классе?

— Перешла в восьмой.

— Уже совсем большая, — рассеянно определила она.

Я кивнула. Что тут скажешь? Большая так большая.

— Я себя помню в твои годы, — продолжала она. —

Я уже тогда поняла, что главное в моей жизни — музыка.

— А Катя у нас к музыке равнодушна, — сказала мама.

— Медведь на ухо наступил, — сказала я.

Она засмеялась:

— Как? Какой медведь?

— Это такая поговорка, — ответила я, с досадой чувствуя, что краснею.

— Да, ты уже совсем большая, — сказала она еще раз, думая, очевидно, о другом.

Это наше новоселье запомнилось мне надолго. Запомнилось потому, что впервые в жизни я почувствовала, что ненавижу женщину, не сделавшую мне, по совести

говоря, ничего плохого, и все-таки я ненавидела ее до того, что просто задыхалась от переполнявшего меня отвращения к ее голосу, к ее бренчащим браслетам и бусам, ко всему ее тщательно сделанному, заботливо ухоженному облику.

Может быть, правду говорят, что дети и собаки особенно чутко ощущают фальшь. А она была фальшива до самых кончиков своих блестящих огненно-коралловых ногтей.

Ненатурально смеялась, свысока хвалила мамины пироги, снисходительно поглядывала на тихую Зиновию Семеновну, делала вид, что внимательно слушает дедушку, рассказывавшего о том, как выглядела в старое время Москва. Очевидно, она изо всех сил старалась понравиться всем и потому каждому говорила сладкие слова: уверяла дедушку, что он выглядит куда моложе своих лет, и так же откровенно льстила маме, говоря, что мама сегодня особенно красива, хотя никто никогда не считал мою маму красивой. И мне она сказала, что, когда я вырасту, я буду такой же красивой, как мама, а я угрюмо молчала все время...

О себе самой Алла Петровна говорила с уважением. Она, как видно, считала, что оказала маме огромную честь, придя к ней в гости, и я удивлялась про себя: неужели мама не видит всего этого?

Мы пили чай, и Алла Петровна, картинно отставив мизинец, — о, как я ненавидела этот оттопыренный, с острым коралловым ногтем палец! — рассказывала о каком-то профессоре консерватории, которого она называла «метр». Она говорила о нем так:

— Встреча с метром оказалась для меня знаменательной. Это была поистине очень важная встреча. Потому что, как выяснилось в будущем, он оказал большое влияние на мое формирование как музыканта.

Можно было подумать, что главной задачей этого метра являлось влияние на ее формирование!

— Конечно, — говорила она еще, — для подлинного музыканта личное обаяние играет огромную роль!

И при этом щурила глаза и откидывала назад голову, чтобы дать нам полюбоваться ее белой шеей с намотанными на нее тремя рядами бус. Весь ее вид как бы кричал:

«Смотрите на меня, впитывайте в себя каждое мое движение, смотрите и понимайте и цените, вот оно, личное мое обаяние, какого ни у кого из вас нет и в помине!»

А мама, моя милая, простодушная мама, ничего не замечала или, может быть, не хотела замечать и вся лучилась от радости, оттого что принимает у себя долгожданных гостей.

К счастью, Алла Петровна после чая собралась уходить.

Мама и папа уговаривали ее посидеть еще немного, но она заявила, что ей предстоит важное свидание и она торопится, и все это говорилось с таким видом, будто то, что она пришла к нам, вовсе не значительное дело, а вот ей еще предстоит свидание, и это свидание гораздо более интересно и важно для нее.

Когда она наконец ушла, мне показалось, все вздохнули свободней.

Агния Сергеевна сказала:

— Завидую таким вот людям.

— Почему? — удивилась мама.

— Умеют себя поставить.

— Да, — сказал папа, — видать, она о себе самого что ни на есть высокого мнения.

— Она хороший педагог, — сказала мама.

Тут уж я вскипела:

— Хороший педагог? Но ведь ты, мама, тоже хороший педагог, тебе даже в прошлом году дали медаль за работу!

— Перестань, Катя, — остановила меня мама.

— Не перестану! Почему же ты не говоришь о том, кто повлиял на твое формирование? И не считаешь себя выше всех?

— Катя! — снова строго сказала мама.

— Что — Катя? — спросила я. — Ведь она педагог, то же самое, что и ты, а ведет себя так, будто первая на свете красавица...

Дедушка, которого Алла Петровна пыталась улестить в течение всего вечера, неподкупно произнес:

— Красавица! Вся раскрашенная, намазанная, аж в глазах рябит, когда на нее глядишь.

— И никакой она не музыкант-исполнитель, — сказала я, ободренная дедушкиной поддержкой. — Не Виктория Постникова.

— И не Святослав Рихтер,— вставил Антон, который до этого молча сидел и слушал нас.

Тут все засмеялись и разом перестали говорить об Алле Петровне, как не было ее никогда, и мама сказала:

— Антон, пойдем, поиграешь нам...

— Что сыграть? — спросил Антон.

— «Патетическую сонату»...

Мы перешли в мамину комнату. Хотя там было тесно из-за рояля, но мы все все-таки уселись и стали слушать Антона. Мама после сказала, что он с каждым днем играет все лучше.

А потом Зиновия Семеновна подошла к маме, сжала обеими руками ее руку и тихо произнесла:

— Я понимаю, это все вы... Спасибо вам.— И отвернулась от мамы.

А наш доктор Агния Сергеевна сказала:

— Э, милочка, да у вас нервы никуда.

И вдруг тоже прослезилась.

#### 4

Внезапно нагрянули частые дожди с туманом по утрам. Правда, бюро прогнозов регулярно сулило теплые солнечные дни и температуру воздуха, доходящую до семнадцати градусов, но ранняя осень самовольно опровергала все предсказания и выдавала нам что ни день дождь, который моросил вплоть до ночи, а ночью вступали в свои права преждевременные заморозки, и утром крыши домов казались сизыми, словно бы дрожавшими от внезапно наступивших холодов.

Я вернулась из лагеря. Дома был только один дедушка, мама в начале августа уехала с папой отдыхать на Азовское море и должна была вернуться к первому сентября.

Как только я приехала домой, сразу же побежала к Антону, но не застала его. Меня встретила Зиновия Семеновна.

— Он на работе,— сказала она.

— Как на работе? — удивленно спросила я.

Она развела руками:

— Что с ним поделаешь? Сам так решил. Сколько

я ни уговаривала его, чтобы поехал в деревню к бабушке, так и не согласился.

Оказалось, все то время, что я провела в лагере, Антон разносил телеграммы. Он договорился в нашем почтовом отделении и зарабатывал по 60 рублей в месяц.

— И все деньги мне отдает,— сказала Зиновия Семеновна.

Я вспомнила, как Антон делился со мной однажды: хочу, когда вырасту, купить машину «Москвич» и вместе с мамой поехать на юг.

Мне стало как-то не по себе. Вот, подумала, я только и делала, что развлекалась, гуляла, купалась, каталась на лодке, собирала грибы, а Антон работал. И теперь, не отдохнув, пойдет снова учиться...

— А я собрала всю его зарплату, до копеечки, и куплю ему пальто,— сказала Зиновия Семеновна.— А то он из старого уже вырос.

Я пошла к себе, села на табурет в лоджии, на которой дедушка посадил бобы и душистый горошек, и они разрослись зеленой стеной. Я думала об Антоне, и мне почему-то представлялось, как он едет по шоссе на своем «Москвиче», выставив локоть в открытое боковое окно, и рядом с ним сидит его мама и они оба едут отдыхать на юг. Должно быть, я задремала, поэтому и не услышала звонок в дверях. Открыла глаза и увидела прямо перед собой Антона.

Вроде бы мы не виделись всего лишь около двух месяцев, но за это время Антон сильно изменился: вырос, волосы выгорели от солнца и глаза на загорелом лице казались совершенно светлыми.

— Ты тоже подросла малость,— сказал Антон.

— Хочу подстричься,— сказала я.— Как думаешь, мне пойдет?

Он по привычке отступил на шаг, чтобы лучше разглядеть меня.

— По-моему, нет. С косами лучше.

— Надоели косы. Хочется вот такую прическу: «мальчик, идем в пещеру», здесь растрепано, а здесь на нет...

— Не могу себе представить тебя с такой прической.

— А я могу. Я уже все обдумала. Будет хорошо.

— Тебе виднее.

— Как дела, рассказывай.

— Все хорошо,— сказал Антон.  
— Ты работаешь?  
— Кончаю. На днях же нам в школу.  
— А на рояле играешь?  
— Редко.  
— Почему? Мама говорила, чтобы ты ходил к нам заниматься.

— Времени не хватало, я же работал.

Потом он сказал:

— Возможно, у меня будет щенок.

Я обрадовалась:

— Вот хорошо! Если бы не бабушка, я бы тоже взяла!

— У нас будет один на двоих. Я все-таки уговорил маму.

— А ты уже выбрал щенка?

Он покачал головой:

— Нет еще. Есть целых пять кандидатов, и я не знаю, кого выбрать. Они мне все нравятся.

— Твоя мама ни за что не разрешит взять пять щенков.

— Она — нет. А я бы взял.

— И я бы взяла. У меня и мама и папа любят собак, а бабушка ни в какую.

— И мой папа тоже любил собак.

Он помолчал немного.

— Недавно мама рассказала мне, как она познакомилась с папой. Он лежал у них в больнице, у него была болезнь Боткина, а она тогда была еще санитаркой, только начала учиться на курсах сестер. И вот она приходила к нему в палату, а он лежал скучный, к нему никто не ходил, он ведь был из детского дома, и она тогда решила как-нибудь развлечь его, рассказывала ему, какие кинофильмы она видела...

— Ну, и что же?

— Ну и вот. Она все рассказывала папе, а он слушал ее и потом, когда он уже вышел из больницы, она узнала, что он кинемеханик и все эти картины сам по многу раз видел.

— А когда они поженились?

— Не знаю. Наверно, вскоре после того, как он поправился. А вообще он много болел, мама говорит, он был болезненный, она постоянно выхаживала его от всяких болезней.



- Скажи правду,— спросила я,— ты помнишь папу?  
Он засмеялся:  
— Иногда мне кажется, что помню.

5

За два дня до начала занятий дедушка сказал мне:

— Вчера я был у Агнии Сергеевны.

— А чего ты к ней поехал? — спросила я.

— Я для нее обмен подыскал. Весьма, по-моему, подходящий, вон в том доме.— Дедушка кивнул на дом-башню, видневшийся из окна кухни.— Квартира тоже однокомнатная, только поменьше, чем у нее, а кухня и вовсе маленькая, пять метров, но ей, одной, хватит.

— У нее теперь кухня восемь метров.

— Ну и что с того? Она сразу же, как только я приехал, даже и слушать меня дальше не стала, говорит: «Пусть те, кто меняются, сперва ко мне приедут, потому что я заранее согласная».

Я побежала к Антону рассказать о том, что Агния Сергеевна, наверно, будет жить рядом с нами.

— А у меня тоже новость,— сказал Антон.— Даже целых две.

— Плохие или хорошие?

— Одна хорошая, одна не очень, даже, по-моему, плохая. Какую выложить раньше?

— Хорошую.

— Идет.

Он подвел меня к балкону. Возле балконной двери стоял ящик, а в ящике сидел и смотрел на нас лобастый черненький щенок с белым хвостом и белыми лапками.

— Что за прелесть! — воскликнула я.— Сколько ему?

— Месяца полтора.

— Ты где его взял? Это один из тех пяти, о которых ты мне говорил? Стало быть, выбрал?

— Нет, это уже шестой. Мама принесла из больницы.

— Где она его нашла?

— Там у них, в больничном дворе, живет собака, и у нее родились щенки, мама взяла вот этого...

Щенок несколько раз пискнул, потом схватил мой палец и стал сосать.

— Как мы назовем его? — спросила я.

— Ему подходит «Черныш», как думаешь?

— Черныш? Очень хорошо. Черныш! — позвала я, щенок поднял голову. — Смотри, он уже знает свое имя.

— Он очень умный, — сказал Антон. — Можешь поверить, я знаю собак, это будет необыкновенно умный пес.

— Он будет и твой и мой.

— Договорились. Только с ним надо гулять.

— Буду гулять, не беспокойся!

Я погладила Черныша по черной, слегка кудрявившейся шерсти.

— Вот тебе теперь уже и не надо выбирать одного из пяти!

— Да, я очень удивился, когда мама принесла его.

— Выходит, ты сумел перевоспитать ее. А теперь давай другую новость.

— Наш дом сломали.

— Какой дом?

— Как — какой? На Масловке.

— А ты откуда знаешь?

— Твой дедушка сказал.

— А он откуда знает?

— Ему, кажется, Агния Сергеевна сказала.

— Почему же дедушка мне не сказал?

— Это ты уж его сама спроси.

— Наш дом, — повторила я.

Казалось, до меня только сейчас дошел смысл того, что сказал Антон. Наш дом сломали. Больше его уже никогда не будет...

— Поедем на Масловку, — сказала я. — Поглядим...

— Чего глядеть?

— Вдруг от него что-то осталось? Поедем.

И мы поехали. Через весь город, на автобусе, потом на метро, потом на троллейбусе. Чем ближе подъезжали к старому району, тем тревожнее было мне. Я и хотела увидеть то, что осталось от нашего дома, и боялась этой встречи.

Еще издали мы увидели огонь. Он горел ярко, весело, а кругом стояли незнакомые мальчишки, смотрели на огонь.

Это горел наш дом. Сперва его сломали, а потом, видно, решили сжечь.

Трещали прокаленные солнцем долгих лет доски,

пламя то разгоралось, то снова затихало, и тогда мальчишки, которых я не знала, подбрасывали в огонь кто доску, кто обломок двери, кто кусок ставня, и огонь оживал с новой силой.

Мы с Антоном молча смотрели, как горит наш старый дом. Нет, не только дом. В огне горело наше детство, все прожитые здесь когда-то годы. И первый букварь, по которому мы учились читать. И кубики, те самые, которые я однажды подарила Антону, и елка в серебряных бусах, и наши вечера на скамейке в саду, когда Антон рассказывал мне всякие истории про загадочные убийства, а я так и не могла угадать, кто же убийца, и первые гаммы Антона, и лепестки сирени, которые мы съедали перед экзаменами, все, все было охвачено веселым, как бы ликующим пламенем, искры летели в разные стороны, и наперебой, словно галки, кричали мальчишки.

Антон взял меня за руку:

— Хватит. Нагляделась?

— Да,— сказала я.

— Тогда поехали домой.

— Поехали...

— Здесь, должно быть, построят новый дом, этажей в десять или еще больше, вот такой, какой у нас сейчас.

— Но это уже не будет наш дом.

— Наш дом теперь в Беляеве-Богородском.

— И без тебя знаю!

Он снова повторил:

— Хватит, пошли.

А я все никак не могла оторваться, словно ноги мои приросли к земле. Взглянула на Антона, в каждом зрачке его полыхал крохотный огонь, и от этого его глаза казались необычно яркими и блестящими.

И мне показалось, он думает сейчас то же самое, что думаю я.

## Облачно, с прояснениями

Однажды, когда к Лидии Ивановне пришли ее ученицы, вынула она из комода запрятанный далеко кусок вылинявшей ткани, встряхнула ее, словно собиралась гладить.

— Угадайте, девочки, что это такое?

Девочки глянули. Материя как материя, слегка шероховатая на ощупь, основательно вылинявшая, когда-то, должно быть, зеленоватая, что ли...

— Знаете, что это за штука? — спросила Лидия Ивановна и сама же ответила: — Маскировочная ткань. Понятно?

— Нет, — призналась Таня. — А что это такое?

— Может быть, что-то для театральной декорации? — предположила Танина сестра Наташа.

— Маскировочная ткань идет на маскхалаты. Одним словом, применяется на войне, — ответила Лидия Ивановна. — Теперь поняли?

— Поняли, — сказала за всех Римма Кулакова.

— Тогда это был заказ фронта, — сказала Лидия Ивановна.

Девочки, словно по команде, стали шупать материю.

— Значит, это и есть заказ фронта.

Лидия Ивановна на минуту закрыла глаза, снова увидела темный проем цеха, плотно зашторенные черной бумагой окна. И плакат во всю стену: «Товарищи рабочие! Выполним заказ фронта в предельно короткий срок! Отдадим все силы великому делу Победы!»

— Вот оно что, — сказала Наташа.

И Таня отозвалась, словно эхо:

— Вот оно что...

Лидия Ивановна провела ладонью по лицу, словно стирая что-то мешавшее видеть. Бережно сложила материю так, будто могла еще на что-то пригодиться. После положит ее обратно в комод, пусть себе лежит, покоится с миром.

Поймала взгляд Риммы, та украдкой глянула на часы. Наверно, торопятся девочки куда-нибудь: на каток, или на танцы, или в клуб. Что ж, пусть идут.

Римма была маленькая, темноволосая, очень изящная, с постоянной улыбкой на нежно-румяном лице. А сестры-близнецы Грузиновы, Таня и Наташа, рослые, со светлыми, почти белыми волосами, крупнолицые, чуть скуластенькие, до того походили одна на другую, что Лидия Ивановна поначалу иной раз путала их.

Наташа говорила:

— Я старшая.

Таня добавляла:

— Она родилась на час раньше.

— Да, на целый час,— утверждала Наташа.— Это что, мало? Все-таки, как ни говори, шестьдесят минут!

Всем троем предстояло весной закончить ПТУ, и теперь они проходили производственную практику на текстильной фабрике, в прядильном цехе. И наставницей их была Лидия Ивановна.

Девочки уже вышли было в коридор одеваться, как вдруг Таня сказала:

— Я все забываю, тетя Лида, бабушка велела вам привет передать.

— И ты ей тоже передай,— ответила Лидия Ивановна.— А она что, меня знает, твоя бабушка?

— Вы с нею вместе работали,— сказала Наташа.

— Постой, кто же это?

— Теляшова Анастасия Петровна.

— Как, Настя? — прервала Наташу Лидия Ивановна.— Нет, в самом деле?

Наташа кивнула.

Таня сказала:

— Бабушка каждый раз про вас спрашивает.

— Погоди.— Лидия Ивановна пристально оглядела обеих сестер.— Так вы что же, неужто Тасины дочки?

— Да. А вы маму тоже знаете?

Тася Телешова... Бывало, прибежала на фабрику, ждала возле проходной, пока выйдет мать; Лидия Ивановна до сих пор ее помнила — беленькая такая, глазастая, шея тонкая-тонкая.

— Как время бежит! — сказала.— Вот я уж и Тасиных дочек обучать стала.

С досадой подумала о том, почему это так получается, что со старыми подругами приходится редко встречаться? Даже с Настей, с той самой Настей не виделись, наверно, уже лет двенадцать, никак не меньше. Настя раньше нее ушла на пенсию, по болезни. Случилось им повстречаться как-то на улице, зимой это было. Холод, снегом все кругом засыпало, Настя торопилась домой с тяжелой сумкой, набитой продуктами. Перекинулись беглыми словами:

— Как живешь?

— Да ничего. С дочкой живу. А ты все одна, Лида?

— Все одна.

— Ну, я побежала, скоро внучки из школы придут. Улыбнулись друг дружке и разошлись в разные стороны.

Стало быть, выходит, вот они, Настины внучки.

— Как мы с Настей дружили-то! — сказала Лидия Ивановна с невольной горечью. — Как дружили, и вот разминулись наши дороги, и прощай, как говорится, прости.

— Бабушка очень у нас занята, — сказала Наташа. — Или готовит, или вяжет, или стирает.

— Что ж, передайте ей привет...

— Непременно.

Девочки ушли, а Лидия Ивановна долго сидела, не зажигая огня, и все вспоминала, вспоминала...

Как живая предстала перед ней ясноглазая, русоволосая, с родинками, щедро осыпавшими щеки, Настя. Мягкая, ровного характера, а какая певунья была, заслушаешься, бывало.

Зимой сорок третьего довелось Лидии Ивановне с делегацией москвичей, рабочих оборонных предприятий, на фронт ехать, везли они подарки фронтовикам — белье, кисеты для табака, вареники, шарфы, конфеты и печенье. И Настя тоже была вместе с нею.

Мороз был сильный, ехали они тогда в крытом грузовике, тесно прижавшись друг к другу. Кругом дремучие леса, ночь, только снег блестит на дороге.

— Вдруг немцы где-нибудь спрятались и подстерегают нас, что тогда будем делать? — тихо спросила Лида.

Настя еще крепче обняла ее:

— Не бойся, Лидок, ты со мною...

Засмеялась. А у самой, Лида знала, кошки на сердце. Уже полтора года нет ни одной весточки от мужа. Как ушел на фронт, так словно в воду канул.

И, как бы угадав Лидины мысли, Настя шепнула:

— А вдруг я там Сережу увижу? Может же быть такое, мы приезжаем, и вдруг — сам Сережа, откуда ни возьмись...

— Все может быть, — ответила Лида. Подумала про себя: «Почему же он так ничего и не написал? Был бы живой, здоровый, дал бы о себе знать...»

Но вслух ничего не сказала. К чему травить и без того наболевшее Настино сердце?

А Настя опять шепчет:

— Таська по нем так соскучилась! Все время спрашивает: «Мама, когда же наш папка вернется?»

— Все может быть,— повторила Лида.

Представила себе: вдруг и ей предстоит тоже повстречаться с ним, с Егором. Вдруг он жив и похоронка с никогда не забываемыми словами «Погиб смертью храбрых» — ошибка, случайность. Сколько таких ошибок бывает на фронте! Как часто родные уже похоронили солдата, оплакали его, а он взял да пришел домой невредимый.

Настя угрелась, прижавшись к Лиде, задремала; наверно, во сне видит своего Сережку таким, каким видела его тогда в последний раз, как уходил он воевать. А может быть, видит во сне дочку, оставшуюся в Москве. Как она там?

Грузовик едет все дальше от Москвы, за ним и впереди него — целая шеренга грузовиков, снег хрустит под колесами, ветер дует сильно и остро, зима в разгаре.

«Вот как оно бывает, Настя,— подумала Лидия Ивановна.— Сколько лет прошло, и теперь твои внучки пришли ко мне в цех. А с тобой, Настя, все никак не удастся встретиться, почему?»

Лидия Ивановна первая любила подшутить сама над собой.

— Мы, старые девы,— говорила.— Мы злые, как осенние мухи, бойтесь старых дев, самые опасные из всех зверей.

И смеялась совершенно искренне. Может быть, потому, что она не боялась смеяться над собой, все считали ее умной. Она же ценила в себе только два качества, которые привлекали ее и в остальных людях: никогда не изменявшее ей чувство юмора и полное отсутствие сентиментальности.

Редко плакала, не умилялась, не расточала восторгов и еще — не питала решительно никаких иллюзий насчет своей внешности, раз и навсегда определив себя безусловно непривлекательной, оттого не любила глядеться в зер-

кало, хотя в то же время была необыкновенно аккуратна, брезглива и чистоплотна, как сибирская кошка.

Больше всего страшилась показаться смешной, потому обычно подавляла вдруг возникавшие в ней жалость, сострадание, нежность к кому бы то ни было или простое сочувствие.

Многим Лидия Ивановна казалась черствым, неотзывчивым сухарем, она знала об этом и не спорила. Пусть их думают что хотят. Ведь самой ей хорошо известно, какова она на самом деле.

Почти тридцать пять лет проработала Лидия Ивановна на текстильной фабрике, в прядильном цехе. Была за эти годы и бригадиром и профоргом, потом все-таки сама, по своей воле, решила перейти работать в лучшую бригаду фабрики, которой руководила ее ученица Зина Вершилова.

— Хочу последние годы побыть под твоим началом, — сказала Зине.

Зина пожала наливными плечами:

— Почему последние, тетя Лида? Еще подымите, дадите шороху.

— Ну-ну, — строго одернула ее Лидия Ивановна. — Полегче выражайся, а то не погляжу, что ты у нас бригадир, и даже депутат райсовета...

Зина впервые начала работать в бригаде Лидии Ивановны. Было это девятнадцать лет тому назад. В ту пору Зина выглядела чуть ли не моложе всех в цехе — худенькая, даже тощая, длинные руки с красными кистями вылезают из рукавов платья, белобрысые, туго заплетенные косички торчат над ушами.

И вдруг нате вам — такой королевой обернулась! Что волосы, что глаза, что походка...

Лидия Ивановна только самой себе могла признаться, что за все эти годы привязалась к Зине, словно к родной. Будто несложившаяся, порушенная ее женская судьба внезапно возродилась в Зине, которой везло во всем — и в любви, и в детях, и в работе.

Порой глядела Лидия Ивановна на красивую Зину, ловко управлявшую своими машинами, и ей представлялось — это она, молодая, еще не испытывавшая никакого горя, не знающая утрат, идет вдоль ряда машин, приподняв голову, на ходу заправляя выбившиеся пряди под



косынку. Как быстро, неумолимо катится время! Настоящее становилось прошлым, и будущее, которое где-то туманно брезжило вдалеке, тоже становилось прошлым.

Подрастали дети, старились старики, потом старики уходили навсегда, и дети в свой черед становились стариками, а им на смену приходили новые жители планеты...

Иной раз казалось, будто безостановочно вскипают гигантские волны, одна за другой, и на гребне каждой бесчисленные скопища людей, промелькнут и скроются, и уже не видать никого, но вот уже спешит вслед другая волна, и на ней новые обитатели, и тоже скрываются в огромном водовороте, и снова волны догоняют друг друга. И каждый человек, как бы коротки ни были его годы, считает себя значительным, самым из всех важным и вечным...

Тогда ее пронзало вдруг острое чувство жалости ко всему живущему на земле, с первого своего дня обреченному уйти навеки, и пусть этот самый миг наступит не скоро, когда-нибудь, но он же все равно наступит.

Как бы удивились, должно быть, те, кто знал Лидию Ивановну, работал с нею на фабрике или жил в одной квартире, если бы стали известны ее затаенные мысли.

Многие годы подряд Лидия Ивановна жила в коммунальной квартире неподалеку от фабрики, на Грузинском валу. Дом был двухэтажный, с виду уютный, окруженный двором, во дворе росли лопухи, крапива и вдоль забора — акация. По весне акация начинала цвести, кошки преотчаянно орали на крыше, ветер раздувал легкие занавески в открытых окнах дома, где вечерами сияли различных цветов абажуры, освещая двор с нежной, повесенному трогательно чистой, еще не замутненной травой. Весна стремительно переходила в лето, оборачиваясь жарой, пылью, осевшей на лопухах и акации, медленно вянущей травой, но в комнатах дома было прохладно, стены были крепкие, очень толстые, не теперешней кладки.

«Типичный старомосковский особняк,— определила Зина, когда впервые пришла к Лидии Ивановне.— Протакое вот особняки писали и Тургенев, и Чехов, и Гиляровский...»

Несколько раз на фабрике предлагали Лидии Ивановне переехать в новый дом с центральным отоплением и всеми удобствами, но Лидия Ивановна отнекивалась:

родилась в этом самом особняке, всю жизнь прожила в нем и надеется там же окончить свои дни. В конце концов, недаром же говорят: привычка — вторая натура.

Но внезапно в один прекрасный день дом на Грузинском валу решено было поставить на капитальный ремонт и всех жильцов переселить в Мневники: там, на берегу Москвы-реки, выросли три красных пятиэтажных дома, их так и называли «аварийки», потому что в них селили людей, переехавших из-за пожара, ремонта или еще какой-нибудь неожиданно случившейся аварии.

Всем жильцам дали отдельные квартиры. Лидии Ивановне досталась однокомнатная — большая, светлая комната, крохотная кухонька, ванная, коридорчик, все чистенькое, свежее, окрашенное веселой клеевой краской нежно-бирюзового цвета; солнце с раннего утра глядело в комнату, потом переходило на кухню, на хорошо отциклеванном полу золотилась мельчайшими пылинками длинная солнечная полоса.

Кажется — живи и радуйся! Так нет!

Лидия Ивановна вдруг поняла, что не может без своей коммуналки, без привычного шума в коридоре, без телефона, который, кажется, уже охрип, звоня беспрерывно, но никто из жильцов не подходит, каждый надеется на другого.

Когда-то жильцы единодушно выбрали Лидию Ивановну ответственной по квартире. В глубине души она не могла не гордиться этим званием. Раз в месяц вывешивала на стене в коридоре написанные от руки «Правила совместного проживания»:

«Не включать радио и других музыкальных инструментов раньше восьми утра», «Не говорить по телефону позднее одиннадцати вечера», «Сознательно относиться к местам общего пользования», «Регулярно следить за порядком и чистотой», «Ежедневно выносить помойное ведро» и так далее в том же духе.

Как-то Зина, зайдя к Лидии Ивановне, прочитала эти самые «Правила» и, не скрываясь, расхохоталась.

— Что значит «сознательно относиться к местам общего пользования»? — спросила. — Как это вы понимаете, тетя Лида?

— Тебе этого не понять, — ответила Лидия Иванов-

на.— Живешь в отдельной квартире, сама себе и бабушка и внучка.

— В отдельной квартире я живу, сами знаете, около четырех лет,— сказала Зина,— но, честное слово, сроду такого не приходилось читать. Какой дурак это все выдумал?

Лидия Ивановна хотела было обидеться, но врожденное чувство юмора победило, и она ответила сравнительно невозмутимо:

— Дурак вот он, перед тобой...

Засмеялась от души, увидев, как непритворно смутилась Зина, вся так и вспыхнула, будто кинулся ей в самое лицо близкий огонь.

Однако Лидия Ивановна продолжала и дальше вывешивать на стене свои «Правила». Квартира была многонаселенной, очень шумной, но жильцы старались выполнять правила совместного проживания прежде всего, может быть, потому, что знали неподкупную справедливость Лидии Ивановны.

И вот она очутилась одна, в отдельной квартире. Здесь было тихо, пусто, сверкали чистотой стены — и ни одного соседа в пределах видимости. Все бывшие соседи разместились неподалеку от Лидии Ивановны, но все-таки уже ускользнув от ее взыскующих глаз, в своих изолированных друг от друга обителях.

Зина Вершилова удивлялась:

— Неужели вам скучно, тетя Лида?

— А ты как думаешь?

— Не знаю. Я вот, как переехала в отдельную квартиру, просто не нарадуюсь! Подумать только, все свое, никто не шебаршит под носом, не ругается, не пристает с разговорами.

— У тебя семья, дети,— внушала ей Лидия Ивановна,— а я одна, как шпуля сломанная. Мне в коммуналке, бывало, казалось, что я тоже не одна, кругом живут все свои, семейные.

— Ну, знаете,— возмущалась Зина,— сравнили!..

А Лидии Ивановне даже домой не хотелось идти. Еще едучи с фабрики в троллейбусе, представляла себе темные окна своей квартиры, где никто ее не ждет, где во всех углах прочно засела тишина, и она медлила, обманывая себя, неторопливо шагала к дому, мечтая хотя бы нена-

долго встретить кого-то из прежних соседей, поговорить о чем-либо, чтобы еще ненадолго отдалить тот миг, когда она вставит ключ в скважину входной двери.

Иногда в свободные дни, когда, казалось, тишина была особенно плотной, непробиваемой, она отправлялась в центр, к Кукольному театру Образцова. Терпеливо стояла, выжидая, когда стукнет двенадцать часов.

Вместе с нею обычно собиралось много народа, как дети, так и взрослые, тоже стояли, ждали положенного часа. И наконец сбывались их ожидания! Медленно поворачивался золотой петушок, загорались цветные фонарики, мартышка била в литавры, вспыхивали красноватым огнем глаза ослика, лукаво шерилась узенькая мордочка лисы. На всю Садовую раздавалось зычно, весело: «Ку-ка-ре-ку!»

Лидия Ивановна представляла себе, что, должно быть, во всех окрестных домах люди слышат петушиный крик и проверяют по нему часы.

Вспомнилось, когда-то в юности ездила она почти каждое лето к бабушке, в далекое северное село со смешным названием Маечки. Вечерами бежала вместе с девочками к станции встретить проезжавший мимо скорый Москва — Архангельск. Станция была такая маленькая, что поезда дальнего следования не останавливались на ней. Москва — Архангельск проходил каждый вечер, ровно в девять часов одиннадцать минут, и в окрестных деревнях, заслышав гудок паровоза, проверяли по нему часы.

А она стояла на станции с подружками, ждала, когда покажется вдалеке темная, все нарастающая полоса, обретая по мере своего приближения ясность и выпуклость очертаний. И вот уже длинный, мягко вихляющийся состав мгновенно, стремительно пронесется вперед, обдав резкой, упруго бившей в лицо струей воздуха, сверкая рядом освещенных окон, словно чья-то недоступная, неведомая жизнь, которая издали кажется праздничной, необычной...

Девчонки говорили:

— Ты, Лидка, счастливая, живешь в большом городе.

Все, как одна, говорили на «о», и она ловила себя на том, что невольно начинает подражать им, тоже говорит на «о».

Лидия Ивановна вспоминала о давно минувшем времени, и подчас ей думалось, откуда-то из далекого далека, вровень с нею мчится длинный, ярко освещенный поезд, мчится и обгоняет, обдав на миг чужим теплом, чужой незаемной радостью.

На Международный женский день Зина Вершилова собрала гостей.

Само собой, была позвана и Лидия Ивановна.

Сидели за овальным, щедро уставленным различными закусками столом, говорили все вместе, в одно и то же время. Гул стоял в комнате, откуда вынесли и кровать, и шифоньер, и трюмо с тумбочкой, чтобы гостям было попросторней.

Зина подавала на стол всё новые блюда — с пирогами, с холодцом, с заливной рыбой,— кулинарка была отменная, гости ели все охотно, не уставали хвалить Зинино мастерство, а ее муж, шупленький, белокурый, с острым, чутким носиком, довольно потирал ладони.

— Какова у меня жена? — спрашивал.— Что скажете?

И шурил сладкие темно-коричневые, похожие на изюм глаза в смуглых веках с такими длинными ресницами, что девушке впору, но никак не мужику средних лет невзрачной наружности.

Лидия Ивановна поглядывала на него, отмечая про себя его скользкий взгляд, суетливость, нервный, без причины смех.

«И что в нем Зина нашла? — думала.— Чем он ейглянулся?»

Должно быть, не одна она так думала. И толстуха Сергованцева, мотальщица, работавшая на фабрике с незапамятных времен, шепнула Лидии Ивановне:

— А ведь, как я погляжу, вовсе они не пара...

— Ну, почему же? — вяло возразила Лидия Ивановна. Не хотелось говорить неправду, но не могла она оставить Зину незащищенной.— Чем уж он такой плохой?

Сергованцева слегка откинула голову назад, будто старалась получше разглядеть Лидию Ивановну.

— Нечего душой кривить, милка моя,— протянула.— Сама, что ли, не видишь?

... Однажды, тому уже семь лет, пришла к Лидии Ивановне Зина посоветоваться, стоит ли выходить замуж.

Сидела, перебирая пальцами снятую с головы косынку, синюю, с розовой каймой, время от времени поднимала на Лидию Ивановну глаза.

— Как быть, тетя Лида?

— А ты любишь его? — спросила Лидия Ивановна.

— Не знаю, — ответила Зина. — Сама не пойму.

— Тогда погоди еще, дождись, пока любовь придет.

Зина спросила:

— А вдруг никогда не будет любви? Разве не может такого быть?

— Может, — согласилась Лидия Ивановна. — Только я бы на твоём месте никогда не вышла за того, кого не люблю.

— Да не то чтобы не люблю, — задумчиво произнесла Зина. — Он хороший, он меня любит, может быть, я еще полюблю его, как думаете?

— Не знаю, что тебе и сказать, — промолвила Лидия Ивановна.

— Все-таки нехорошо одной, — продолжала Зина. — Как-никак мне уже двадцать семь, все говорят, пора семьей обзавестись, а не то опоздаю.

— Тебе бы только слушать всех! — проворчала Лидия Ивановна. — Можно и без семьи жить.

Зина глянула на нее, быстро отвела глаза в сторону. Видно, только успела сообразить, кому она все это говорит.

Но Лидию Ивановну нелегко было смутить. И самую что ни на есть горькую правду прежде всего привыкла самой себе высказать.

— Мне на двадцать пять лет больше, чем тебе, до сих пор семьей не обзавелась и уже никогда, думаю, не обзаведусь. Думаешь, мне от этого так уж плохо?

Зина накинула косынку на голову, голубые яркие глаза ее словно бы налились густым синим цветом. Слегка улыбнулась, блеснув ровными зубами.

Ничего не сказала, только глянула, только улыбнулась, и все. Но Лидия Ивановна поняла, не верит ей Зина, и справедливо не верит, потому что хотя и не привычна лгать Лидия Ивановна, а как там ни говори, солгала. Нет, плохо одной, уж так плохо, но разве виновата она в судьбе своей, в том, что все так случилось?

Обе они как бы сразу, в один момент, разгадали мысли

друг друга, и обеим стало не по себе. Зина заторопилась уйти, Лидия Ивановна не пыталась ее удерживать.

На свадьбу к Зине Лидия Ивановна не пошла, сказалась больной; она вообще не любила ходить на свадьбы. Когда Зина, отгуляв положенные молодоженам три дня, явилась на фабрику, Лидия Ивановна сняла со своей шеи и надела на Зину медальон, подарок бабушки северного села Маечки — на серебряной тонкой цепочке позолоченная подкова с бирюзовым камешком посредине.

— Это тебе, Зина, на счастье,— сказала.

Так же вот некогда сказала Лидии Ивановне бабка, отдав медальон. Да не суждено было сбыться ее словам.

Спустя год Зина родила дочку, через два года сына. Отец Зины к тому времени умер, мать перешла жить к ней, нянчила внучат, вела хозяйство. А Зина постепенно набирала высоту, возглавила движение прядильщиц за овладение четырьмя профессиями, потом стала бригадиром лучшей бригады, выбрали ее в фабком, в депутаты райсовета.

Муж ее по-прежнему работал в какой-то архитектурной мастерской с хитрым названием, не то Мостранс-проектстрой, не то Гипромоспромпрокат, был вроде чертежника, а может быть, еще кем-то. Злые языки говорили: чего-то там по хозяйственной части, третьим помощником младшего заместителя. Но как бы там ни было, Зина его не бросала, жила с ним как будто бы дружно, однако его никто не уважал, и все называли его не по имени, а просто «Зинин муж».

Заведующая прядильным цехом Ангелина Исаевна Провоторова, статная, русоволосая, с темными сросшимися бровями и огненным цветом лица, слегка захмелев, крикнула через весь стол:

— Ну и хозяйка ты, Зина! Второй такой не сыскать! Муж у тебя самый счастливый, оторвал себе сокровище и в ус не дует! — повернулась к Зинину мужу, подмигнула ему веселым карим глазом.

— Будет вам,— беззлобно сказала Зина.— Зачем вы так, Ангелина Исаевна? Он у меня тоже неплохой, вчера целый день сидел с дочкой, вместе палочки в тетради писали.

Улыбнулась тонким, хорошо очерченным ртом, и было непонятно, то ли смеется над ним, то ли, напротив, хвалит.

С соседнего завода, машиностроительного, позвонили в партком фабрики, пригласили на праздник победителей соревнования.

— Начинаем новую традицию,— заявил Прохоров, секретарь парткома машиностроительного.— Будем отмечать передовиков каждый год, укореним традицию, и станет она у нас, как полагается, крепкой и привычной..

— Пойду с девчонками,— сказала Лидия Ивановна.— Пусть поглядят. Они, кажется, еще ни разу не бывали на машиностроительном заводе.

— Пусть посмотрят, увидят, что у нас за соседи,— одобрила Зина.

Когда сестер Грузиновых и Римму Кулакову прислали на фабрику, Зина сказала Лидии Ивановне:

— Кроме вас, тетя Лида, я считаю, некому их обучать.

— Может, поищешь получше и найдешь кого,— ответила Лидия Ивановна.

— Уже искала и вот — остановилась на вас.

Зина привыкла к тому, что ей обычно улыбаются в ответ. Однако Лидия Ивановна оставалась серьезной.

— Стара я стала, Зина, скоро уже на пенсию.

— Вот еще! — оборвала ее Зина.— Рано вам на пенсию. Да и что вы дома, в четырех стенах, делать будете?

Внезапно запнулась, осознав, до чего бестактно, грубо звучат ее слова. Лидия Ивановна, однако, словно бы и не слышала того, что сказала Зина.

— Стара стала, а молодые много сил требуют.

— Не такая уж вы старая,— сказала Зина.

Лидия Ивановна покачала головой:

— Это как сказать, милая.

Но Зина не слушала ее.

— Надо взять над ними шефство во всех смыслах. Помогать и учить их, как полагается.

— Что значит — во всех смыслах? — спросила Лидия Ивановна.

— Ну, значит сперва привить им трудовые навыки, это, как говорится, перво-наперво, потом, стало быть, хорошенько вникать во всю их жизнь, интересоваться их делами, их учебой и вообще...— Зина неопределенно повела ладонью.



Лидия Ивановна усмехнулась:

— Ты у меня, Зина, как я погляжу, совсем как министр стала разговаривать.

— Это еще почему? — удивилась Зина.

— Приказы отдаешь с ходу, да не только словами, но и жестами.— Лидия Ивановна так же, как и Зина, приподняла брови, сощурила глаза и небрежно махнула ладонью.— Как, похоже?

— На все сто! — Зина откровенно засмеялась.— Вам бы артисткой быть, тетя Лида.

— И то,— сказала Лидия Ивановна,— выбрать бы только, в каком театре играть, в оперном или в драматическом.

Зал машиностроительного, плотно заполненный людьми, был ярко, празднично освещен огромными люстрами, вдоль стен красовались транспаранты:

«Поздравляем героев труда!», «Слава победителям социалистического соревнования!»

На сцене стояли герои дня — токари, слесари, фрезеровщики. Их было шестнадцать, почти все рослые, широкоплечие, алые ленты через плечо.

— Витязи,— прошептала Таня.

— Скорее древние богатыри,— сказала Римма.

Заиграл оркестр на балконе над залом. Вошли пионеры. Маленький щекастый барабанщик лихо барабанил палочками по тугому барабану. Потом остановился, застыл. Пионеры стояли на сцене навтыжку. Подбежали два фотографа, сверкнули блицы, снова заиграл оркестр. Внизу, под сценой, стояли операторы телевидения, записывали всё на пленку. Кто-то сказал, что завтра вечером будет передача по первой программе.

— Красиво как! — сказала Наташа.

Таня спросила:

— Тетя Лида, вы когда-нибудь были пионеркой?

— Была, как же.

Разве можно позабыть вековые сосны в лесу, месяц высоко в небе, над соснами, костер, рассыпающий искры в разные стороны. Пионеры уселись вокруг костра, поют все вместе:

Взвейтесь кострами, синие ночи,  
Мы — пионеры, дети рабочих.

— А ну другую! — кричит Вася Вилкин, веснушчатый коротышка, и запевает неровным, срывающимся голосом:

Эх, сыпь, Семеновна,  
Подсыпай, Семеновна...

Но тут поднялся с земли Егор Капустин, полосатая майка немного широка в плечах, шея дочерна загорелая, щурит золоченные огнем глаза.

Негромко начинает любимую, пионерскую:

Эх, картошка, объеденье, денье, денье,  
Пионеров идеал, ал, ал...

Тогда она, Лида, первая подхватила:

Тот не знает наслажденья, денья, денья,  
Кто картошки не едал, дал, дал!

Егор дирижировал обеими руками, картинно встряхивая темной прядью, упавшей на лоб.

Они учились в одном классе. Потом она закончила ФЗУ, а Егор поступил на МОГЭС монтером. Почти каждый вечер поджидал ее возле ворот ФЗУ. А по выходным они гуляли в соседнем Краснопресненском парке, катались на лодке по Москве-реке.

Неужели это все было?

У нее были густые волосы, и яркий румянец, и молодая, гладкая кожа на руках. Нет, она не была красивой, но он, должно быть, считал ее лучше всех. И любил ее. И они решили пожениться, как только он получит комнату. И она сказала:

— Пусть самую маленькую, лишь бы отдельную.

— Не бойся, дадут, никуда не денутся, — сказал Егор. А в конце лета ушел на фронт.

Она часто писала ему. Письма были подробные, длинные. В то время она уже начала работать на фабрике, в прядильном цехе, выполняла заказы фронта.

Его письма были много короче, в каждом письме он просил ее — пиши почаще, не забывай, жди, мы непременно увидимся.

Она получила обратно свои последние к нему письма, и позднее, когда уже знала, что его нет, вдруг пришел

солдатский треугольник со знакомым до боли почерком:

«Лидя, родная! Я очень скучаю по тебе и верю, мы обязательно увидимся, как только разобьем врага, я вернусь, и мы всегда будем вместе...»

Так и осталась она одна. И не хотелось больше никого, не хотелось ни с кем связывать свою судьбу. Впрочем, разве нашелся бы кто-либо, кто пожелал бы ее? Вокруг было много женщин, таких же, как она, свободных, только моложе, красивее, веселее.

...Как и обычно, когда уходили откуда-нибудь, девочки проводили ее до самого дома.

Лидия Ивановна привычно подняла голову, глянула на свои окна. Темные. Всегда темные. Может быть, оставлять свет, уходя? Тогда, возвращаясь, увидишь — в окнах светло, и не будет так одиноко? Впрочем, все это обман самое себя, откровенный обман.

— Что завтра собираетесь делать? — спросила Лидия Ивановна.

Римма сказала:

— Завтра отосплюсь за всю неделю.

— У нас Наташа по воскресеньям тоже долго спит, а я не могу, — сказала Таня. — Привыкла рано вставать, и уже как-то не спится.

— Я тоже привыкла рано вставать, — сказала Лидия Ивановна. Мысленно увидела: утро, тишина, за окном деревья неслышно шелестят ветвями.

Можно никуда не идти, весь день просидеть дома, только зачем?

Прошрое воскресенье она отправилась в поход. Прочитала объявление возле метро: «Желающие отправиться в туристический поход до Рузы собираются у Белорусского вокзала, возле кассы номер пять, в шесть тридцать утра».

Ровно в шесть пятнадцать утра она уже стояла возле кассы номер пять. Было по-утреннему малоллюдно, небо в легких облаках, мягкий, нехолодный ветер.

Собралось всего примерно человек двадцать, всё больше женщины Лидии Ивановны возраста. Руководитель, бодрый, заросший темными волосами по самые плечи бородач в тренировочном костюме, обладавший необыкновенно зычным басом, возглавил поход.

Он был на диво активен, то запевал песню, требуя, чтобы все остальные подхватили припев, то, громко ударив в ладоши, пускался в пляс, поводя плечами и выделявая ногами различные кренделя. То начинал один за другим рассказывать несмешные анекдоты, первый громко смеясь и, наверное, удивляясь, почему это другие не смеются. Должно быть, он стремился вдохнуть жизнь в любителей пеших походов, которые шли, глядя себе под ноги, как бы не замечая ни лесных тропинок, ни полей, ни деревьев.

Лидия Ивановна подумала тогда, что все те, кто идет вместе с нею, очевидно, так же как и она, стараются спастись от одиночества, которое равно давит на всех, спастись хотя бы на один только день. Неужели и этот бородатый веселый, ну и, конечно же, еще молодой по годам человек тоже одинок? И так же стремится позабыть о своем одиночестве, о возвращении в пустые, молчаливые стены?

Они дошли до леса, бородач приставил ладони ко рту.

— Минуту внимания! — пророкотал он. — Привал, отдых.

И тут же затянул песню, немилосердно фальшивя:

Не пылит дорога,  
Не дрожат листья,  
Погоди немного,  
Отдохнешь и ты.

Оборвал песню, прошелся колесом, прыгнул несколько раз и начал собирать сучья для костра.

Лидия Ивановна собирала вместе с ним, и вскоре уже разгорелся огромный костер, часто стрелявший искрами, потом под угли положили картофелины и сидели вокруг костра, глядели на огонь. И бородач вдруг притих, задумался о чем-то...

— А что вы будете делать, тетя Лида? — спросила Таня.

— Сама не знаю.

— Там что, Москва-река? — Наташа кивнула на деревья, темневшие вдали. — Пойдемте туда, ладно?

— Ну что ж.

Лидия Ивановна первая пошла вперед. Светила луна, знакомые деревья на берегу казались непомерно большими, загадочными. Набегали быстрые облака, то и дело скрывая луну, и тогда сразу становилось темно, неприятно, потом облака исчезли, и освобожденная от них луна опять несла свой чистый, ясный свет.

Москва-река словно бы уснула, по самой середине ее пролегла лунная дорожка.

— Красиво как! — сказала Таня.

— А ты давай напиши стихи.— Римма дернула Таню за руку.— Ну, начинай сочинять: «Ах, луна, ах, река, как ты мне дорога!»

— Помолчи-ка, душечка,— сказала Таня.— Лучше поглядела бы вокруг себя.

— И что я бы увидела? — спросила Римма. Узенькое, лисье личико ее выглядело необыкновенно белым, почти фарфоровым в свете луны.

— То же, что и мы все видим,— ответила за Таню Наташа.

— Например? Луну, облачка, травушку-муравушку? Да?

Римма засмеялась, но никто даже не улыбнулся в ответ.

— Хотя бы и так,— спокойно согласилась Наташа.— Она знаете какая, тетя Лида? Взяла и выкрала у Тани тетрадку и читала всем Танины стихи.

— Неужели правда? — Лидия Ивановна посмотрела на Римму.

Римма скривила губы:

— Вы им верьте, тетя Лида, они еще чего-нибудь напридумают.

— Разве я вру? — спросила Наташа.

— Ну хорошо, не врешь, а что такого особенного я сделала? Таня пишет стихи, у нас в ПТУ все знают, и я взяла и прочитала, что тут такого?

Она взяла Лидию Ивановну под руку, но Лидия Ивановна медленно высвободила руку.

— По-моему, Римма, то, что ты сделала, все равно, что чужое письмо прочитать.

— Как это? — не поняла Римма.— При чем здесь чужое письмо?

— При том. Ведь Таня не дала тебе свою тетрадь

и не просила тебя читать ее стихи, ты сама взяла ее тетрадь без спроса, чего ж тут хорошего?

— Я, может быть, сама когда-нибудь взяла бы и прочитала всем ребятам свои стихи,— сказала Таня.— А теперь не хочу и не буду.

— Ну, а мне прочитаешь когда-нибудь?

Таня кивнула:

— Вам, тетя Лида, почитаю.

— Прочти сейчас,— сказала Римма.— Мне очень нравятся твои стихи про осень.

Таня засмеялась:

— Подлизываешься, Римма!

— Ни капельки не подлизываюсь, говорю, что думаю. Про осень мне больше всего понравилось.

— Прочти, Таня,— попросила Лидия Ивановна.

Таня отошла немного назад, заложила руки за спину. Начала читать стихотворение, чуть заывая, должно быть, подражая кому-то, актеру или поэту, кого довелось видеть:

Скоро осень моя, здравствуй!  
Здравствуй, осень, тебя я жду,  
Что ж, давай, цари и властвуй  
На мою ль, на твою ль беду...

И дальше Таня читала про «Одиночество, как твоё имя-отчество, как твоё прозвище-звание, горькое моё страдание?».

Читая стихи, Таня опустила ресницы, тень от ресниц упала на нежные её щеки, вся она такая юная, свеженькая, миловидная...

Лидия Ивановна не выдержала, улыбнулась:

— Откуда у тебя эти мысли, Танюша? И что ты знаешь про одиночество?

Римма сказала:

— Она у нас любит фасон давить.

— А ну, хватит! — с досадой сказала Таня.— Сама же просила меня почитать стихи, а теперь придираешься!

Помолчали немного, потом медленно повернули обратно. Шуршали под ногой первые опавшие листья, с Москвы-реки вдруг потянуло острой, резкой прохладой.

— А ведь и в самом деле скоро осень,— сказала Наташа.— С дождем, со слякотью.

— Люблю осень,— заявила Римма.— Осенью никуда идти неохота, учись или работай, и все тут.

— Зато, как только солнышко выглянет, наша Римка уже ожила,— усмехнулась Наташа,— хвост трубой, ноги в руки, только ее и видели!

— А тебе завидно?

Наташа удивленно переспросила:

— Мне? Завидно? Это тебе, что ли, завидовать?

— Кому же еще? За мной все мальчишки бегают, возле дома поджидают, записки мне пишут, а за тобой никогошеньки!

— Хватит вам! — Таня положила руки на плечи Риммы и Наташи.— Чтоб было тихо!

— Я, конечно, могу завидовать,— помолчав, начала Наташа,— только не тебе и не еще кому-нибудь из девчонок, а хотите знать, кому я завидую?

— Ну, кому же? — улыбаясь, спросила Лидия Ивановна.

— Зине Вершиловой, вот кому.

— Зине? — удивилась Лидия Ивановна.— Почему именно ей?

— Потому что она знаменитая, о ней пишут, дня не проходит, чтобы о ней в газете не писали или по радио не говорили. А сколько раз ее снимали и на обложки, и так в журналах...

— Зина ничего, довольно красивая,— сказала Таня.

— Да разве из-за этого ее снимают? — спросила Наташа.— Ты что? Таких красивых у нас на фабрике сколько хочешь! Нет, она знаменитая, о ней все знают.

— А сегодняшним героям завидуешь? — спросила Римма.

— Каким героям?

— Машиностроителям?

— Вот когда я на них раньше смотрела, как они на сцене стоят с лентами через плечо, а их на телевидение снимают и все на них глядят, я им всем так завидовала! — задумчиво произнесла Наташа.

— Пусть Таня стихи про них напишет,— посоветовала Римма.

— И напишу, почему нет,— сказала Таня.

— А что, вдохновилась, кажется?

— Вдохновилась,— спокойно ответила Таня.

— Я бы десять лет жизни не пожалела, чтобы стать знаменитой,— снова начала Наташа.— Ничего мне равным счетом не надо, только бы стать знаменитой.

— А я и не знала, что ты такая,— сказала Римма.

— Какая же?

— Тщеславная.

— А это разве плохо?

— Не знаю. Во всяком случае, я не такая.

— Какая же ты? — спросила Таня.

— Обыкновенная,— ответила Римма.— Я хочу любить и чтобы меня любили, чтобы у меня было много детей и чтобы я была счастливая.

— Мы все хотим быть счастливыми,— вставила Наташа.— И я и Таня. Верно, Таня?

— Верно,— сказала Таня.— Только я тоже хочу быть знаменитой, и чтобы повсюду висели мои портреты, и чтобы все кругом на меня смотрели и снимали меня, вот как сегодня рабочих на машиностроительном.

Лидия Ивановна усмехнулась:

— Смешные вы, девчонки!

— Бабушка тоже говорит: смешные вы...

Наташа спросила:

— Тетя Лида, а вы хотели бы быть знаменитой?

— Как-то не думала об этом.

— Чего ей хотеть,— вмешалась Римма.— Тети Лидины портреты тоже повсюду были. Я помню одно ваше фото в «Огоньке». Верно?

— Было такое дело. Снимали у нас ветеранов, и меня тогда засняли.

— Выходит, и бабушка наша тоже ветеран? — спросила Таня.

— Конечно.

— У нее вечный пропуск на фабрику есть, я сама видела...

Лидия Ивановна вспомнила: провожали Настю на пенсию. Было это в фабричном клубе, Настя веселая, в нарядном платье, глаза горят, щеки малиновые. Сам директор подарил Насте чайный сервиз Ломоносовского фарфорового завода, красный, в синих и голубых цветах, и именные часы «Полет». А они все, Настины подруги, подарили радиоприемник «Даугава». И Настя так много смеялась, казалась такой счастливой.



Поздно вечером, когда собрались домой, Настя села в директорскую «Волгу», директор приказал отвезти ее домой со всеми подарками. Перед тем как сесть в машину, Настя обернулась, и Лидия Ивановна поразилась тогда, как же вдруг переменялась подруга, будто разом постарела на много лет.

И Настя сказала ей:

— Лида, а ведь это уже навсегда.

— Что навсегда? — не поняла Лидия Ивановна.

— Навсегда уйду, больше уже не буду ходить на фабрику. Никогда.— И по слогам, медленно еще раз произнесла: — Ни-ко-гда.

Кто-то, кажется толстуха Сергованцева, провожавшая ее вместе с остальными до машины, крикнула громко:

«Брось, Настя, вон тебе даже пропуск постоянный оставили, стало быть, приходи, когда только захочешь!»

Но Настя не улыбнулась в ответ, еще раз поглядела на старых своих подруг, и глаза у нее были такие скорбные, что сердце Лидии Ивановны больно сжалось.

«Теперь, милые мои, я уже не ваша, я теперь отрезанный ломоть»,— сказала Настя.

«Вот и я тоже стану отрезанный ломоть,— подумала Лидия Ивановна.— Может быть, даже скоро...»

Она задумалась, опустив голову.

Таня (что за чуткая душа, однако!), как бы разгадав ее мысли, крепко прижала к себе ее руку.

— Тетя Лида, я вам вот что скажу, ведь нам всем ужасно повезло.

— Кому это — вам всем? — спросила Лидия Ивановна.

— Мне, Наташе и Римме. И бабушка тоже считает, что нам повезло.

— Да, бабушка каждый раз говорит,— добавила Наташа, — вы у меня везучие...

— Чем же вам повезло?

— А тем, что мы к вам попали.

— Бабушка вас очень видеть хочет, тетя Лида,— сказала Таня.— Она вас часто так вспоминает.

— И я ее вспоминаю, девочки. Шутка ли, сколько всего вместе пережито! — задумчиво произнесла Лидия Ивановна.

Почему-то вспомнились зимняя дорога под луной, бле-

стоящий на дороге снег, ветер, завывающий в ушах, когда они обе тесно прижались друг к другу в кузове грузовика.

— Знаете, тетя Лида, что мы придумали? — спросила Наташа. — Надо вас к нам привезти, все вас видеть хотят: и бабушка, и мама, и папа. Прямо завтра мы за вами утром зайдем, хотите?

— Завтра? — спросила Лидия Ивановна. — Не знаю, право. У меня столько дел по дому накопилось, все на воскресенье откладывала.

— Какие же у вас дела?

— Убраться надо, полы вымыть, постирать кой-чего.

— Тетя Лида, зачем вам все это? — вдруг спросила Таня с бессознательной беспощадностью юности. — Стирать, мыть полы, еще там чего? Вы же одна, сама себе хозяйка, хотите сегодня будете стирать, хотите через неделю, кто вам слово скажет?

— Это верно, — согласилась Лидия Ивановна. Улыбнулась, чтобы Таня не поняла, как внезапно больно резанули ее Танины слова.

— Значит, договорились? — спросила Наташа. — Завтра ровно в одиннадцать мы за вами заходим, тетя Лида, и на весь день к нам!

— Как бабушка обрадуется! — сказала Таня.

— А мама разве нет? — спросила Наташа.

— Я тоже с вами, — решительно проговорила Римма. — Берете меня в компанию?

— Что с тобой поделаешь? — сказала Таня.

Лидия Ивановна взобралась к себе на третий этаж. Тишина привычно встретила ее.

Однако впервые за эти годы тишина не давила, не пригибала книзу.

Не зажигая света, она подошла к окну, глянула вниз, надеясь еще раз увидеть своих девочек. Но они, должно быть, уже успели уйти.

## Срок давности

**Я** сказала:

— Какой у тебя миленький значок!

Я нарочно выбрала что-то не очень, на мой взгляд,

ценное, принадлежащее ей, потому что хорошо знала, что последует за моими словами. И не ошиблась.

Она мгновенно отколола от платья значок, изображавший на малиновом фоне крохотную раскрытую книгу синего цвета, протянула мне:

— Нравится? Так возьмите...

Не возьмешь — обидится.

Она, ее зовут Ляля, из той довольно редкой породы людей, о которой говорят: «Последнюю рубашку с себя снимет, единственным куском хлеба поделится».

Она ничем не дорожит, ни за что не держится, легко отдает все, что бы у нее ни попросили.

Должно быть, потому у нее нет ни нарядных платьев, ни безделушек, ни радующих глаз приятных пустячков — заколок, гребешков, шарфиков, клипсов. Едва лишь появится у нее какая-то занятная гребенка, заколка, ремешок для часов, уж не говоря о красивом платье или блузке, как мгновенно вынырнет подружка, соученица по школе или соседка по дому, привыкшая зариться на чужое и немилосердно завидовать, и Ляля тут же подарит то, что у нее просят. И после не вспомнит о том, что подарила.

Лялины подруги почему-то все, как одна, попрошайки и завистницы.

Было у Ляли бархатное платье, кубово-синее, отделанное кружевами цвета чайной розы, очень ей шло. Попросила надеть соседка, выходявшая замуж. Позднее соседка призналась: молодому мужу пришлось по душе именно это платье, ему вообще нравится бархат...

— Так берите его,— сказала Ляля.

Был превосходно сшитый брючный костюм, зеленый с белым, тоже кто-то выпросил. Еще было маленькое черное платье; пришла к ним девушка, она с нею прошлым летом познакомилась, вместе ездили на пароходе от Москвы до Углича, увидела платье, восхитилась, попросила снять фасон, сулилась привезти на следующий день к вечеру.

Прошло уже около сотни вечеров, ни той самой девушки, ни платья.

Я говорю Ляле:

— Узнай ее адрес, поезжай, заberi свое платье.

Смеется, машет рукой:

— Вот еще, мне легче новое сшить!

Она превосходно шьет, сама научилась; может быть, потому, что умеет шить, она и не дорожит вещами?

Она любит книги, умеет охотиться за ними, порой раздобудет какую-нибудь нашумевшую новинку, прочитает ее залпом, а прочитав, не прячет книгу подальше, отнюдь, а дает почитать каждому, кто бы ни попросил.

Но ведь все издавна знают: «зачитать» книгу вовсе не предосудительно...

Она выросла на моих глазах. Наши квартиры на одной лестничной площадке. Моя однокомнатная и Лялина двухкомнатная, в которой она живет вместе с дедом.

Помню, они переехали сюда тому уже лет десять-одиннадцать. Старый, но еще крепкий человек и его внучка, маленькая девочка, смуглолицая, темноволосая, с неожиданно светлыми, словно взятыми с другого лица глазами. Все жильцы удивлялись, почему у девочки нет родителей, один лишь дед.

Однажды, вскоре после их переезда, он постучался ко мне. Спросил:

— Не знаете, где находится ближайшая ветеринарная лечебница?

— На Трубной улице,— ответила я.— А что случилось?

— У нас со щенком ЧП.

— Со щенком? Каким щенком? Вы как будто бы переезжали без всяких щенков?

— Он появился позавчера. Утром Ляля нашла его в канаве возле дома.

— Ну, и что же?

— Ничего. Принесла домой, тут же нарекла Редькой.

— Редькой? Что за странное имя!

— Дело в том, что щенок весь черный, кругленький, как шарик, а головка у него белая. Ляля считает, очень похож на самую обыкновенную редьку.

— Чем же болен этот ваш Редька?

— Он слопал весь мой запас раунатина.

— Раунатин?

Я не знала, что это такое: стиральный порошок, или краска для пола, или еще что-то в этом роде...

Улыбка его стала шире:

— Счастливая, вы не знаете, что такое раунатин.

Впрочем, полагаю, что со временем узнаете. Это лекарство, понижающее давление. И щенок съел целых двадцать пилюль этого самого раунатина.

— Надо срочно промыть желудок,— сказала я.

— Вот я и собираюсь это сделать,— ответил старик.— Хочу поехать вместе со щенком в ветеринарную поликлинику...

Он не закончил. В открытую дверь ворвалась Ляля.

— Дедушка,— торопливо начала она.— Редька зевает и не хочет пить молока!

— Ну, что я вам говорил? — спросил дед.— У нее, видно, разом упало давление.

— А это очень плохо? — переспросила Ляля.

— Плохо,— ответил дед.— И собаке плохо, и мне, потому что она проглотила весь мой паек. Ладно, не будем терять время. Сейчас беру твою Редьку и еду с нею на Трубную. В ветеринарную поликлинику. Пусть помогут чем сумеют.

— Дедушка, я с тобой,— сказала Ляля.

— Что ж, едем,— сказал дед.

Глянул на меня:

— Поскольку мы соседи, то меня зовут Алексей Кириллович.

Я назвала себя.

— А я Ляля,— сказала Ляля.

Мне показалось, что ее маленькое смуглое лицо, озаренное блеском светлых глаз, походит на лицо деда, тяжелое, немного костистое, с морщинками на лбу и щеках.

Вечером я пришла к ним. У них было две комнаты, в одной книги, всюду — на столе, на подоконнике, на широких, видимо, самодельных книжных полках. Во второй комнате, немного поменьше, было почти пусто — обеденный стол, в углу маленький столик, на нем игрушечная посуда, надувной крокодил, возле окна диван. И все. На стене фотография молодой женщины. Пышные волосы по плечи, игриво прищуренные глаза. Ляля решительно не похожа на нее, и все же я угадала, это ее мать.

Едва я вошла, как ко мне кинулся угольно-черный щенок с белой головкой и белым хвостом, ткнулся мокрым носом в мою ладонь, легонько ударил лапкой и отскочил в сторону.

— Правда прелесть? — спросила Ляля.

— Еще бы! — ответила я. — Как, сделали промывание?

— Конечно. Доктор сказал, что в самый раз привезли: еще бы два-три часа, и была бы катастрофа!

Она тщательно выговорила это, должно быть, еще новое для нее слово: «ка-та-стро-фа».

Так я познакомилась с моими соседями, а впоследствии подружилась с ними. Овдовев года три назад, старик задумал было жениться на вдове старого своего товарища, но тут случилось непредвиденное: его племянница разошлась с мужем, влюбилась в другого, а этот другой был согласен на все, но с одним условием: чтобы девочка жила отдельно от них. И тогда племянница умолила дядю, единственную свою родню, взять дочку к себе. Отец девочки уехал далеко на Север, по слухам, там женился и не собирался в скором времени возвращаться на Большую землю. И дядя оставил всякие мысли о женитьбе, а ее мать вместе с новым мужем уехала на юг, к Черному морю; у молодожена оказались слабые легкие, и ему был предписан врачами благодатный морской климат.

Ляля была теплым, отзывчивым ребенком, ко всем окружающим относилась доброжелательно и открыто, но больше всего она была привязана к деду.

Как сейчас вижу, идут они по улице, он высокий, слегка сутуловатый, острые, худые плечи, черное длинное пальто, седеющие волосы открыты (он никогда, ни в какую погоду, не носил ни шляп, ни шапок) и маленькая тоненькая девочка старательно шагает рядом с ним. А впереди бежит Редька, черная, с белой головкой и белым хвостом; пробежит вперед, обернется, глянет, здесь ли хозяева, и снова вперед.

Сколько воды утекло с тех пор...

Вот уже старенькая, сильно потолстевшая Редька, тяжело переваливаясь на ревматических лапах, идет возле своего старого хозяина. Хозяин ее тоже заметно изменился: весь белый, еще более худой, морщины на его лице, кажется, стали глубже, рельефней.

А Ляля... Ей уже семнадцать, она в десятом классе. Высокая (они теперь все высокие — век акселерации), короткие темно-русые волосы, вздернутый нос и неожи-

данно светлые на смуглом, как бы постоянно загорелом лице глаза.

Пока что я — ее главный поверенный. Несмотря на разницу лет, Ляля относится ко мне так, будто я ее подруга и ровесница.

Я ей как-то сказала, что люди любят делиться секретами со случайными попутчиками, потому что больше им не встретиться. Но, если доведется вдругорядь повстречаться, не простят собственной откровенности и будут злиться на того, кому поведали свои тайны...

— Вы для меня не случайный попутчик,— возразила Ляля.

— И все-таки очень тебя прошу, не разозлись на меня за свою откровенность...

— Не разозлюсь,— пообещала Ляля.

Впрочем, какие уж такие тайны она мне поверяла? В общем-то, пустяки, ничего важного, значительного...

Ляля учится во второй смене. День ее начинается с того, что она обегает этажи и подъезды.

Дед говорит:

— Пошла разносить кефир...

Два раза в неделю Ляля утром покупает хлеб, молоко и ряженку старухе Агаповой с третьего этажа, у которой уже несколько лет как отказали ноги, потом идет гулять с собаками, берет свою Редьку, а заодно Жульку и Тарасика, дворняжку и лаечку из соседних квартир, на шестом и втором этажах. Жулькины хозяева — их двое, муж и жена Колотырины,— невероятные копуши: встают за два часа до работы и все равно ухитряются, как они сами признаются, почти что опаздывать к началу смены. Может быть, потому, что оба одинаково медлительны, они не раздражают друг друга. Работают они на кондитерской фабрике «Марат».

Жулька — собачка терпеливая, должно быть, понимает, что хозяева ее никак не могут отыскать десять минут, чтобы погулять с нею; Жулька всегда слышит, как Ляля бежит по лестнице вниз, и начинает немилосердно лаять и радостно визжать.

Хозяйка Тарасика — белой лаечки с острыми ушками,— бледнолицая, томного вида дама, обладающая странным именем Сергиана, по-моему, просто-напросто ленится рано вставать.

Еще Ляля занимается с пятиклассником Петькой Симагиным, это ее общественная работа, от которой, прямо скажем, она могла бы легко отказаться — как-никак весной ей заканчивать школу, учиться в десятом классе не просто.

Петька Симагин, по общему признанию, человек трудный; перво-наперво неисправимый лентяй, потом неумеха, лишенный каких бы то ни было способностей к математике; впрочем, и к русскому языку и к географии он также не испытывает ни малейшей склонности.

— Нет,— уверяет Ляля.— В нем просто никто не сумел разбудить интерес к учебе.

— А ты сумеешь? — спрашиваю я.

Ляля уверенно кивает головой:

— Безусловно. Надо только нащупать, к чему у него лежит душа.

Насколько я понимаю, ей еще не удалось нащупать, к чему лежит Петькина душа. Петька продолжает неизменно плохо учиться, но к Ляле привык и охотно прибегает к ней заниматься. Может быть, думаю я, Ляля — его первая любовь? Разве не бывает, что мальчишки влюбляются в девочек старше их? Сколько угодно.

\* \* \*

Одни считают ее хорошенькой, яркой, заметной, другие — обыкновенной, скорее невзрачной, третьи — решительно некрасивой...

Если бы меня спросили, какая она, я бы ответила: «Всякая...»

В самом деле, она бывает всякой: хорошенькой, даже красивой, когда, к примеру, придет с катка, белая вязаная шапочка сдвинута на затылок, темные пряди упали на лоб, глаза блестят, щеки заливают румянец... А иной раз задумается, брови нахмурены, губы сжаты, сильнее выдаются скулы и глаза опущены. Тогда она выглядит старше своих лет и совсем непривлекательной. Но стоит деду подойти к ней, положить руку на ее голову, мигом оживится, поднимет лицо, глаза теплые, сияющие.

Как-то Алексей Кириллович обронил:

— Боюсь умереть...

Я, разумеется, изрекла банальное:



— Да что вы... Зачем об этом думать? Еще поживете! Он махнул рукой, как бы отменяя ненужную шелуху моих слов.

— Будет вам. Мне же семьдесят один. Возраст солидный, всяко может случиться, а она какая-то незащищенная...

В душе я согласна с Алексеем Кирилловичем. Вдруг и вправду с ним что случится? Как ей тогда жить? Она доверчива, ее любой может вокруг пальца обвести.

Я думаю про себя:

«Да, но у нее есть мать».

И Алексей Кириллович, как бы разгадав мои мысли, говорит:

— А матери до нее никакого дела. Только собой занята, своими делами.

— Хорошо, если бы Ляля, как закончит школу, вышла бы замуж.

Он кивает:

— Хорошо. Только я не вижу кругом никого подходящего. Все какая-то шушера, несерьезные люди...

И, помедлив, спрашивает, понимая, что не дождется ответа:

— А где их взять, хороших и положительных?

Алексей Кириллович работает в 1-й Образцовой типографии, что на Валовой. По его словам, еще до революции там работали его отец и дед, тогда, когда типография принадлежала Ивану Дмитриевичу Сытину.

— Я пошел работать печатником вовсе не из-за семейной традиции,— говорил Алексей Кириллович.— Просто с детства любил книги, и хотелось самому как-то посылно участвовать в их создании.

Надо видеть Алексея Кирилловича, когда он снимает с полки или берет со стола какую-то книгу; как бережно и в то же время жадно пальцы его перелистывают страницы, глаза пробегают по строчкам.

— Хорошая книга,— нередко скажет он и осторожно кладет книгу на место.— Я за ней два месяца охотился, наконец в сотом магазине поймал.

Я как-то спросила по простоте душевной:

— А зачем вам охотиться за книгами? Вы же, можно

сказать, создаете книгу. Неужели не можете хотя бы за свои деньги купить экземплярчик?

Он покачал головой:

— Да что вы, как можно? Нас ведь много, печатников, офсетчиков, наборщиков; если каждый возьмет по экземплярику, пусть даже и за свои деньги, что тогда будет?

Порой Ляля говорит мне:

— Я никогда не оставлю дедушку. Я люблю его больше всех на свете, и мы всегда будем жить вместе. Я слушаю Лялю, а в моих ушах звучат слова ее деда: «Боюсь умереть...»

\* \* \*

У Ляли постоянно народ. Приходят одноклассники, подруги, живущие в том же доме, часто вертится Петька Симагин, который, мне думается, влюблен в нее.

В последнее время к нам зачастил Юра Костомаров.

Однажды я зашла к ним, и Ляля сказала:

— Не уходите, тетя Ася, тут ко мне один товарищ зайдет, я вас хочу с ним познакомить.

— Что за товарищ? — поинтересовалась я.

— Из нашей школы.

— Твой одноклассник?

— Не совсем, он из параллельного класса. Хочет пойти в литинститут, он пишет стихи.

— Хорошие?

— Мне нравятся.

Он пришел минут через двадцать. Плечистый парень, волосы подстрижены по моде, в кружок, закрывают уши. Очки на небольшом, правильном носу, крупный рот, густые, чуть сросшиеся на переносице брови.

Вошел в комнату, потирая ладони, снял очки, потом снова надел их. Сказал:

— Так входили в дом чеховские врачи, ты не находишь?

— Кто? — спросила я.

Он живо обернулся, увидел меня, слегка смутился:

— Извините, я думал, Ляля одна.

— Это наш друг и наша соседка, — сказала Ляля.

— В одном лице. — Юра улыбнулся, блеснули ровные зубы.

Подошел ко мне, протянул руку, рука у него теплая, крепкая. Хорошая рука. И лицо приятное, интеллигентное, начисто лишенное какой бы то ни было смазливости. Про него так и тянет сказать: «Симпатичный парень».

— Помните, врачи в рассказах Чехова входили в комнату, потирая ладони и говоря: «Брр, холодно!» А после начинали: «Ну-тес, что у вас?..» Верно?

— Верно,— ответила Ляля.

— Устал.— Юра плюхнулся на тахту, глубоко, всей грудью вздохнул.

— Почему устал? — спросила Ляля.

— Уже целых три часа хожу красивый, с утра побрился,— он провел рукой по щеке,— оделся, нафургонился и устал.

Ляля дует на него, словно желает охладить.

— Будет тебе...

— Почему будет? — спрашивает он.

— Будет кокетничать.

— А что, нельзя?

Что-то никак не пойму, нравится ли он мне или нет. Подкупает непринужденная, свободная манера держаться, вроде бы лишенная рисовки или желания нравиться. Впрочем, думаю я, может быть, это игра?

Потом мы сидим за столом.

Ляля постоянно придумывает различные блюда, стараясь их приготовить по-своему, позамысловатей и как можно дальше от традиционных, самых, по ее мнению, банальных рецептов. Так, например, ветчину она поливает брусничным вареньем, к мясу подает кисло-сладкий соус, рыбу запекает вместе с сыром и с черносливом. Признаться, я соглашаюсь отведать ее угощение исключительно из вежливости и боязни обидеть ее.

На этот раз Ляля потчует нас салатом, придуманным ею: рис и изюм, жаренные на сливочном масле, под майонезом, с апельсиновыми дольками и мелко тертым сыром. И еще рыбой в особом маринаде очень сложного рецепта, туда входят и кетчуп, и помидоры, и кавказская травка тархун.

Юра отдает должное всем блюдам, но особенно хвалит салат.

— Что-то необыкновенное,— говорит он.— Такое оригинальное сочетание...

— Правда вкусно? — озабоченно спрашивает Ляля. Он подмигивает мне:

— Необыкновенно.

Однако, когда Ляля вышла из комнаты за чайником, Юра быстро произносит:

— По-моему, это ужас. Вы не находите?

Я невольно улыбаюсь. Салат не то чтобы ужас, но, конечно, не самая вкусная еда. Попросту говоря, он страшно невкусен.

А она радостно оживлена, доверчива.

Я поминутно поглядываю на Юру, стремясь понять, какой он на самом деле. У меня врожденная жадность к людям, к познанию их судеб, их подлинных мыслей и чувств. Это не страсть к коллекционированию, а стремление узнать каждого, кто встречается мне, понять, какой он в действительности.

Впрочем, к Юре у меня особый интерес, ведь в него, мне кажется, влюблена Ляля. Влюблена впервые в жизни.

Мы уже отпили чай с печеньем, испеченным Лялей тоже по своему, не похожему ни на один другой рецепт: миндаль, мука, соль и... майонез, и все это вместе запечено в духовке с петрушкой и укропом. Не пойму, то ли, по выражению Юры, ужас, то ли ничего. Мы с Юрой заговорщически переглядываемся, одновременно ломаем печенье, пробуем и говорим:

— Вкусно...

Как будто бы и вправду ничего, во всяком случае вкус у печенья необычный.

— А дедушка? — спрашивает Юра. — Он где? На работе?

— Конечно. У них в цехе вчера поставили новую машину, четырехкрасочную, дедушка теперь монтирует ее и целыми днями в цехе.

— Когда я окончу школу, я непременно пойду работать, — говорит Юра.

— Ты же хотел пойти в литинститут.

— Пока нет. Надо поработать, узнать, что это такое, а не бросаться в вузы, как это делают некоторые.

— Почему ты так говоришь? — обижается Ляля. — Ты что, против высшего образования?

— Почему? Нет, не против. Просто у нас часто бывает так: человек окончил школу и сам не знает, куда по-

даться: в МАИ, в МИФИ, в МАДИ или лучше в цирковое училище, а почему бы и не в ветеринарную академию или же в ГИТИС, а то и в ГИЖ?

— Само собой, бывает и так,— соглашается Ляля.— Кто-то идет в вуз лишь потому, что его товарищи тоже жаждут высшего образования.

— Вот-вот. И учатся спустя рукава, и ходят на лекции через пень-колоду, одним словом — занимают чужое место. А в результате — еще одна сломанная судьба.— Юра многозначительно поднимает брови.— Понятно?

— Да,— отвечает Ляля.

— Понятно, почему я хочу сперва все продумать и потом уже выбрать?

— Потом тебя возьмут в армию...

— Ну и что же? После армии все равно все как есть продумаю и пойду учиться.

— В литинститут?

— Если не передумаю до тех пор.

— Кем бы вы хотели быть? — спрашиваю я Юру.

— Еще не знаю. На худой конец, хотя бы баловнем судьбы. А что?

— Можно и любимцем фортуны,— добавляет Ляля.— Правда, Юра?

Она произносит его имя чуть нараспев: «Ю-у-ура-а»...

Хочу понять, как она к нему относится: вправду влюбилась в него или это просто-напросто моя фантазия?

Но я не успеваю решить, потому что Юра перебивает мои размышления.

— Тебе бы жить в Китае,— обращается он к Ляле.— Золотым бы человеком там была.

— Почему в Китае? — спрашивает Ляля.

— Говорят, там тоже любят такие вот несовместимые соединения, как ты: например, ветчину с сахаром, рыбу с повидлом...

— У меня ветчина не с сахаром, а с вареньем, к тому же кислым,— обижается Ляля.— А рыбу я еще никогда не готовила с повидлом. С чего это ты взял?

Неожиданно является Петька Симагин.

Он приходит чуть ли не каждый день, все время ищет какой-либо предлог забежать к Ляле.

Петька решительно вынимает из кармана куртки прозрачный мешочек, наполненный водой.

— Вот,— говорит Петька,— я к тебе прямо с Птичьего рынка. Получай! — И сует в руки Ляли свой мешочек с водой.

— Что это? — пугается Ляля.— Зачем мне эта гадость?

— Да ты что? — возмущенно спрашивает Петька.— Какая это гадость? Это гуппи.

— Как? Гуппи? — повторяет Ляля.— А что это такое?

— Это необыкновенные рыбы,— чеканит Петька.— Знаешь, как за ними охотятся? Их и вообще-то достать невозможно!

— А ты, видать, большой любитель необыкновенных рыб,— говорит Юра; лицо его серьезно, глаза за стеклами очков глядят невозмутимо, но тонко вырезанные ноздри подозрительно вздрагивают.

Петька, не отвечая ему, продолжает:

— Я за ними, знаешь, сколько времени охотился? Их очень много в кукольном театре, у Образцова, мы там были, я их там видел.

— Ты был, надеюсь, с мамой? — вежливо спрашивает Юра.

Петька вздергивает круглую голову с жесткими, коротко стриженными волосами.

— Нет, я был не с мамой,— сухо отвечает он.

— А с кем же? С папой? — все так же вежливо продолжает Юра.

Я поняла, он тоже догадался о том, что Петька влюблен в Лялю, и теперь не без жестокости подкалывает его. И, кажется, делает это с видимым удовольствием.

А Петька весь кипит, пожираемый злостью, ревностью, желанием похлеще отомстить, только как это сделать, он не знает. Знает одно: куда ему против этого взрослого, в очках, высокого, намного выше его, Петьки, ростом.

Однако он не сдается. И, глядя на Лялю отважными до отчаяния глазами фанатика и храбреца, говорит:

— Ты только посмотри, какие они красивые!

Ляля старательно глядит в мешочек, в котором в воде прыгают какие-то точки. Они-то и есть эти самые необыкновенные рыбы — гуппи.

— У тебя есть большая банка? — спрашивает Петька.

— Пойду поищу,— отвечает Ляля и идет на кухню.

Возвращается с большой трехлитровой банкой из-под маринованных огурцов.

— Годится?

— Пока да,— отвечает Петька.— Вообще-то нужно купить аквариум, это такой круглый стеклянный шар. Небось видела где-нибудь?

Ляля отрицательно мотает головой.

Мне становится жаль Петьку, его бескорыстного стремления угодить Ляле, хотя бы чем-то порадовать ее.

— Я видела,— говорю.— Где он продается?

— Сам куплю,— отвечает Петька.— Сегодня их не было, но на днях они появятся.

— Кто — они? — деликатно спрашивает Юра.

Петька не удостоивает его ответом.

— Наверно, аквариумы,— отвечает за Петьку сердобольная Ляля.

Она, должно быть, тоже все как есть поняла, ей и смешно и в то же время немного не по себе. Она не выносит, когда над кем-то насмешничают, и обычно всегда становится на сторону обиженного.

Ляля осторожно переливает воду с рыбками в банку, оборачивается к Петьке:

— Спасибо, Петя, теперь все в порядке.

— Красивые, правда? — Петька широко улыбается. До чертиков доволен, что сумел угодить Ляле.

— Очень!

— Смотри, самец, он весь переливается: то голубой, то красный, а самка — она серенькая, страшненькая.

— Как в жизни,— вмешивается Юра.— Мужчина хочет прельстить женщину, он и так старается, и этак, лишь бы понравиться ей, даже рыбок иногда купит, только бы она взяла...

Юра откровенно смеется. Ляля отворачивается, чтобы не обидеть Петьку, потому что не может удержаться от улыбки. И я тоже не могу удержаться — смеюсь. А Петька растерян.

Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не пришел с работы Алексей Кириллович.

— Это что? Гуппи? — спрашивает он.

Петькина курносая, слегка покрытая веснушками рожица светлеет, словно на нее упал солнечный луч. Он победно оглядывает всех нас:

— Ну, что скажете?

Должно быть, ему хотелось как-то уязвить Юру, только он не знал, как это сделать, и он говорит:

— Вот оно как...

— Да, это гуппи,— продолжает Алексей Кириллович.— Кстати, очень полезные рыбешки.

— Чем же полезные? — спрашиваю я.— Такие-то капельки?

— Они играли большую роль в борьбе с желтой лихорадкой в Индии,— отвечает он.— Вот эти самые капельки поедали личинки всех малярийных комаров.

Ляля с гордостью говорит:

— Мой дедушка — как Большая советская энциклопедия. Все всегда знает...

— Читал когда-то, вот оттого и знаю.

— Можно читать и ничего не запомнить,— говорит Петька и при этом бесстрашно глядит на Юру.— Ведь так очень часто бывает, не правда ли?

— Бывает,— говорит Ляля.

А Юра, словно бы ничего не поняв, ничего не заметив, говорит ей:

— Имей в виду, надо теперь подумать, как кормить этих самых гуппи. Мало тебе мороки с Редькой, теперь давай начинай заботиться о гуппи.

— И буду,— отвечает Ляля.— Дедушка, их как кормить надо?

— По часам,— отвечает Юра.— И сплошь витаминами.

— Хватит! — Ляля машет на него рукой.— Я серьезно спрашиваю.

Петька вынимает из кармана коробочку, ставит ее на стол.

— Вот,— говорит,— это сухой корм. А есть еще живой корм, только он продается на Птичьем рынке. Я тебе в следующий раз куплю...

— Купи, Петя, хорошо? — ласково просит Ляля, и Петька, расцветая от ее слов, высоко вскидывает голову.

По-моему, если бы не мы все, он бы сейчас с удовольствием показал Юре язык.

Я уйду к себе, Ляля провожает меня до дверей.

— Завтра поеду на Птичий рынок, куплю живой корм...



— Петька же обещал купить...

— Да что вы,— возражает Ляля.— Ему геометрию учить надо, на днях контрольная в их классе, а не по рынкам мотаться.

— У тебя тоже времени не в избытке,— говорю я.

— Ничего, мне легче, чем ему,— отвечает Ляля и закрывает за мной дверь.

\* \* \*

Помню, было ей в ту пору что-то лет десять, и я попросила ее сходить за хлебом.

Ляля, по своему обыкновению, быстро согласилась:

— Мне заодно надо в молочную, купить молока себе и Редьке.

Вернулась вскорости без хлеба и без молока. Прижимает к груди книжку в нарядной обложке. Говорит прочувствованно:

— Подумайте, тетя Ася, их у метро продавали. Там такая очередь...

— Кого продавали у метро?

— Не «кого», а «что». Вот эту книжку. Это сказки Андерсена. И мне досталась почти что последняя.

Я сказала меланхолично:

— Кто покупает сказки, а кто без хлеба сидит.

Ляля тут же спохватилась.

— Я сейчас,— сказала виновато,— одну минуточку! Вы не беспокойтесь, сейчас сбегаю и принесу хлеба.

И, уже стоя в дверях, спросила:

— А вы читали сказки Андерсена?

— Читала, конечно.

— А я нет, я только по радио слышала.

Снова тщательно оглядела книжку, сказала:

— Эту книжку дедушка печатал, он сам мне говорил.

Подумала еще немного, спросила:

— Как думаете, дедушка читал эти сказки?

— Думаю, читал.

— И я теперь целую неделю буду читать сказки!

У меня нет детей. Не удивительно, что я привязалась к Ляле и полюбила ее как родную. Потому, когда я думаю о ней (а думаю я о ней часто и подолгу), мне вспоминаются многие эпизоды, смешные, грустные, занимательные или

обыкновенные, но все так или иначе связанные с нею.

Помню, как она тяжело болела стрептококковой ангиной. Лежала в постели, лицо в горячечном румянце, глаза блестят; ставлю ей градусник, шкала чуть ли не до тридцати девяти и семи... Она видит по моему лицу, что я встревожена, спрашивает тихо:

— Высокая?

— Довольно высокая, — отвечаю я.

И она шепчет, чтобы не услышал дед, который возится на кухне, греет ей молоко:

— А вы скажите ему, что почти нормальная.

Помню, как впервые после болезни она вышла на балкон, глянула вниз на улицу, воскликнула удивленно:

— Смотрите, уже зеленые листья на деревьях!

А дед сказал:

— Чему ж ты удивляешься? Всю зиму провалялась, а поднялась — на дворе уже весна.

Лицо ее у меня перед глазами: бледные, ни кровинки, щеки, удивленно расширенные глаза, полуоткрытые губы. Глядит на улицу сверху вниз, шепчет про себя:

— Зеленые листья... И солнышко светит... Вот чудо-то!

А дед подмигивает мне, кивая на Лялю, и оба мы думаем об одном и том же: должно быть, ей самой сейчас кажется, что она родилась во второй раз.

А вот январский, сверкающий стылым морозным блеском день.

За окном падал снег, тихо, как в стакане, неслышно и щедро, улица была вся в снегу, словно декорация: высокие сугробы по краям тротуара, снежные шапки на машинах, стоящих возле дома.

Утром ко мне позвонили в дверь. Я открыла, на пороге стоял губастый, светловолосый парень в меховой шапке пирожком, в недлинной стеганой куртке.

— Привет, — сказал парень. — Я Скуратов.

— Привет, — сказала я. — Ну и что с того, что вы Скуратов?

Он ухмыльнулся, открыв неровные зубы:

— А то, что я тот самый Скуратов, с которым у вас нора.

— Что? — переспросила я. — Какая нора?

— Как — какая? Обыкновенная. Знаете, как трудно получить нору?

— Не знаю, конечно. Знаю только, что мне лично нора не нужна.

— У вас есть собака? — спросил он.

— Нет, — сказала я. — У меня нет, а вот у соседей...

Я подошла к Лялиной двери, позвонила. В тот самый миг, когда Ляля открыла дверь, выбежала Редька.

Глаза Скуратова стали круглыми, словно пуговицы его куртки.

— Вот эта собака? — спросил он.

Все разъяснилось не сразу. Оказывается, Скуратов зашел не в тот подъезд; в следующем подъезде и в самом деле жил жесткошерстный фокстерьер по имени Антабус, очень злой и ершистый.

Мы все вдоволь посмеялись после. Одна Ляля не смеялась.

— Подумаешь, фокстерьеры ему нужны! А слона или тигра, случайно, не требуется?

— Пойми, — убеждал ее дед, — Редька — законченная дворняга, ей не нужны никакие норы и натаски, а жесткошерстный фокстерьер — это собаки-крысоловы, им требуются особые норы.

— Дедушка, — спросила Ляля, — почему ты всегда все знаешь?

Я полагала, что Алексей Кириллович засмеется, попробует отшутиться, но он неожиданно покраснел, как юноша, так, что, казалось, седые его волосы мгновенно стали розовыми.

— Ну, не все, — пробормотал. — Уж ты скажешь!

— Нет, правда, — не отставала Ляля. — Что тебя ни спросишь, ты все знаешь.

— Ну, например, про жесткошерстных фокстерьеров я в книге прочитал, у нас книга по кинологии печаталась.

— Что за книга?

— Перевод с английского.

В тот вечер я сидела у них, мы все трое смотрели детективный фильм по телевизору.

В дверях раздался звонок.

— Начинается! — сказала Ляля, вскакивая, чтобы открыть дверь. — Наверно, еще один какой-нибудь малахольный любитель фокстерьеров.

На пороге стояла женщина, довольно полная, сравнительно молодая. Темно-вишневого цвета пальто, казалось, было ей тесно, на голове белая меховая шапка-ушанка.

В раскрытом меховом воротнике виднелся клетчатый шарфик, над ним цвело слегка оплывшее с мороза лицо, полный розовый подбородок, походивший, как подумалось мне, на молодую картошку, яркие губы, темные, слегка подчеркнутые ресницы.

— Вам кого? — спросила Ляля. Должно быть, подумала про себя: «Опять не туда зашли...»

Но нет, женщина пришла туда, куда следовало.

Она спросила:

— Ляля, ты меня узнаешь?

— Сейчас попробую...

Ляля вглядывалась в нее, пытаясь узнать, кто стоит перед нею. Поначалу лицо Ляли казалось растерянным, потом стало немного проясняться, словно на нем попеременно отражались свет и тени.

Тихо всплеснула ладонями.

— Да, ну конечно же, — сказала женщина и обняла Лялю. — Я знала, что ты меня узнаешь, не можешь не узнать...

Она походила на свою фотографию, ту самую, что висела на стене в Лялиной комнате, только там, на фотографии, она выглядела моложе, а сейчас, когда она сняла шубу, шапку, размотала шарф, стали видны морщинки возле рта, мешки под глазами, дряблая кожа, все те неизбежные приметы старения, от которых никуда не денешься, не спасешься.

Я заметила: Ляля похожа на мать — такие же точно глаза, как у матери, светлые, широко распахнутые, и лоб такой же, чуть выпуклый, невысокий, туго обтянутый кожей, и манера смотреть у обеих одинаковая, немного вбок, словно так вот, сбоку, легче все разглядеть.

Мать подошла к Алексею Кирилловичу, картинно, как мне показалось, воскликнула:

— Дядя, милый, вас ли я вижу?

И столь же картинно прижалась щекой к его щеке. Потом вынула из сумочки, голубой, под кожу, с огромными металлическими кольцами и металлическим же блестящим замком, носовой платок, обмахнула им глаза.

Наверно, это должно было означать, что она не на шутку растрогана встречей с дядей. И, разумеется, с дочкой.

Меня сразу же поразила ненатуральность, деланность улыбки, жестов, движений, даже ее вещи — пальто, шарф, все та же сумочка, сверкающая металлом, даже носовой платок, красный в синий горошек, испускающий резкий запах каких-то крепких духов, — все это тоже казалось деланным, показным, как и ее голос, улыбка, манеры.

Может быть, я еще и потому так недоброжелательно, пристрастно отнеслась к ней, что внезапно неясное, еще самой мне непонятное предчувствие вдруг охватило меня, предчувствие, что эта чужая и схожая и несхожая с Лялей женщина в конце концов уведет Лялю за собой.

Я глянула на Алексея Кирилловича.

Он молчал, хмурия брови, уставясь на стакан со стынувшим чаем.

Зато Ляля не сводила глаз с матери. А та не умолкала ни на миг, в то же время постоянно охорашивалась: то поправляла волосы, то сдвигала с рукава платья невидимую пушинку. Она приподнимала тонкие, хорошо выщипанные брови и снова спрашивала Лялю:

— Как же ты меня сразу не узнала, девочка?

Ляля виновато вздохнула.

— Или я так постарела и подурнела, что меня узнать невозможно?

— Что ты, мама! — с горячностью возразила Ляля. — Ты прекрасна!

Она выпалила эти слова мгновенно, что называется, на одном дыхании, и не только сама мать, но и мы с Алексеем Кирилловичем поняли: как Ляля говорит, так и думает.

Мать улыбнулась, светлые глаза ее просияли.

— Спасибо, детка. Если бы ты знала, как я по тебе соскучилась!

— Оно и видно, — не выдержал Алексей Кириллович. — Десять лет слыхом о тебе не слыхали, наконец через десять лет появилась, соизволила...

Она повернула к нему голову. У нее был точеный, правильный профиль, линия лба плавно переходила в линию носа, прямого, со вздрагивающими ноздрями, верхняя губа чуть-чуть нависала над нижней, и эта

крохотная неправильность нисколько не портила ее, а, напротив, делала лицо еще привлекательней.

Ей хотелось казаться очень искренней, но, главное, ей хотелось нравиться всем нам: не только Ляле, но и дяде и даже мне.

Часто взмахивая ладонью с растопыренными пальцами — под светом лампы блестели ярко-малиновые, похожие на конфеты ногти, — она утверждала:

— Дядя, милый, прошу вас, не говорите так, вы же многого не знаете...

— Как же, не знаю, — пробормотал он.

— Да, не знаете. — Она повысила голос. — Я тосковала по Лялечке все годы, я себе места не находила. Но что я могла поделать против любви? Я была бессильна.

— Хочешь чаю, Верочка? — спросил Алексей Кириллович.

— Чаю? — Она рассеянно оглядела стол. — Ах да, чаю. Нет, дядя, не хочу. Прошу вас, выслушайте меня, и ты, Лялечка, тоже слушай.

Я встала из-за стола. В конце концов, чужим людям вовсе не обязательно присутствовать при встрече родственников. Но Алексей Кириллович властно приказал мне:

— Куда вы? Сидите...

И Ляля схватила меня за руку:

— Тетя Ася, я вас никуда не пушу.

Лялина мать улыбнулась.

— В самом деле, побудьте с нами, пожалуйста.

Подвижное лицо ее то и дело меняло выражение: то становилось грустным, то вновь оживлялось.

— Любовь обрушилась на меня, как лавина в швейцарских Альпах.

— Ты была в швейцарских Альпах, мама? — спросила Ляля.

— Нет, я читала. Но дело не в Альпах, деточка, ты уже взрослая, пойми меня, прошу, я — всего лишь женщина, и я любила. Я полюбила с первого взгляда.

Алексей Кириллович кашлянул в ладонь. Она перевела взгляд на него:

— Дядя, вы верите в любовь с первого взгляда?

— Не знаю, — сухо ответил Алексей Кириллович. — Вообще всяко бывает.

Быстро поглядел на Лялю. Ляля в упор смотрела на мать, ловя каждое ее слово, каждый жест.

А мать между тем все говорила и говорила.

— В первый же месяц совместной жизни я поняла, что это трезвый ум и железная воля... Да,— повторила она,— трезвый ум, но, увы, такой сухой, такой практический.

— Практичный,— поправил Алексей Кириллович.— Или уж вернее всего сказать — прагматичный...

Она не обиделась, кивнула головой:

— Пусть будет прагматичный, смысл один. Он был начисто лишен эмоций, а я всегда была эмоциональной, вы же знаете, дядя, я вся в эмоциях. Конечно, у меня много недостатков, меня в большом количестве трудно переносить. Помню, вы всегда говорили, что терпите меня только в самых маленьких дозах.

— Гомеопатических,— вставил Алексей Кириллович.

Она засмеялась, как мне показалось, притворно.

— Конечно, и постоянная взрывность, эмоциональность и накал, который во мне, утомляют, я же все понимаю сама.

Она говорила о себе, будто о ком-то чужом, постороннем, все более впадая в радостный азарт откровенности, как бы любуясь своими излияниями со стороны, постепенно распаляясь, но в то же время не переставая наблюдать за собой и за теми, кто слушал ее.

Я посмотрела на Лялю, она сидела вполоборота ко мне. Ее большие чистые, серьезные глаза не отрывались от лица матери, полуоткрытые губы, казалось, ловили каждое слово.

Алексей Кириллович чиркнул спичку, закурил сигарету. Уже год, как он бросил курить и не раз хвастал передо мной, что на столе постоянно лежат в коробке сигареты, а ему ни капельки не хочется курить. И вдруг он вынул из деревянной коробки сигарету и опять задымил.

Я ожидала, что Ляля взволнуется, начнет выговаривать деду за то, что не держит слова, ведь она так долго уговаривала его бросить курить, и он наконец бросил и не курил почти год, но Ляля никого и ничего не видела, кроме матери.

Одна лишь Редька откровенно демонстрировала свою неприязнь к госте: сидя под столом, она не переставая

ворчала. Иногда ворчание становилось громче, настойчивей, тогда Лялина мать обрывала разговор.

— Уберите ее! — кричала она. — Я боюсь!

Ляля начинала выговаривать Редьке:

— И тебе не совестно? А ну, немедленно замолчи, сию же минуту!

Редька умолкала ненадолго и снова принималась ворчать.

\* \* \*

На следующий день, когда Ляля ушла в школу, я встретила возле булочной Алексея Кирилловича: он гулял с Редькой.

— Как вам моя племянница? — спросил он меня.

Я медлила, не зная, что ответить. Он сам пришел мне на помощь:

— Экспансивная особа, не правда ли?

— Пожалуй. Где она сейчас?

— У какой-то приятельницы, за городом, что ли...

— Она, кажется, актриса?

— Вроде бы... Была на выходных ролях в областном московском театре, а там устроилась тоже в театр, только знаете, кем? — Он усмехнулся. — В так называемый вспомогательный состав. Это значит, она должна лаять за сценой, верещать сверчком, водить по стеклу пальцем, свистеть коростелем, еще там чего-то...

— Вы откуда это все знаете?

— Да так, случайно. Был как-то там в командировке, зашел в тамошний театр, узнал.

— А Ляле не сказали?

— Нет. К чему говорить девочке, что ее артистка-мать квакает лягушкой за сценой?

— Да, зачем ее разочаровывать.

— Вот именно. Она всегда любила мать, хотя и не помнила ее ни капельки, ведь мать бросила ее, когда Ляле и трех лет не было. Бывало, Ляля начнет меня расспрашивать про мать, приходилось, ничего не поделаешь, турысы на колесах разводить.

— А зачем? — вырвалось у меня.

— Как, — зачем? — удивился он. — Я не мог иначе. Ляля до того любила мать, гордилась, что мать у нее актриса.



— Может быть, надо было, чтобы отрезвить Лялю, сказать всю правду: что мать ее просто-напросто бросила, скинула на ваши руки.

Алексей Кириллович пожал плечами:

— Не знаю, что вам сказать. Может быть, это и было бы полезно, а может быть, для девочки это было бы тяжелым ударом, кто знает?

Помолчали немного.

— Спешу, мне в дневную смену, а дома еще дел невпроворот.

Мимо проходил мышастый дог в сопровождении хозяина, необычайно важного толстяка, который жил в соседнем доме; Редька ошетичилась, с догом у нее были давние нелады.

Алексей Кириллович потянул к себе поводок:

— Спокойно, Редька!

Обернулся ко мне:

— Умная, бестия! Сразу чует фальшь.

— Разве дог в чем-то фальшивит?

— А как же! Притворяется, что не обращает на нее внимания, а сам в прошлом году вдруг как накинется на Редьку, еще немного — и окончательно загрыз бы. — Он ласково глянул на собаку. — Видели вчера?

— Конечно. Вернее, слышала.

— Не желает признавать Веру, и все. И ничего с нею не поделаешь. — Он нагнулся, провел ладонью по Редькиной голове. — Ну что, старушка? Пошли домой?

Редька в последний раз оскалила зубы, прощаясь со своим недругом догом, потом отвернулась от него, медленно зашагала домой возле Алексея Кирилловича. И он тоже шагал медленно, стараясь приноровиться к ее походке.

\* \* \*

Через день, вечером, когда я пришла к моим соседям, почти сразу же раздался звонок в дверь.

— Это мама! — воскликнула Ляля, побежала открывать дверь.

Алексей Кириллович выразительно посмотрел на меня.

— Ничего не поделаешь, — сказала я.

— Да, — сказал он. — Она мать, и в этом ее сила.

Мать вошла в комнату улыбающаяся, розовая с улицы, быстро заговорила:

— Умираю, хочу чаю. Полцарства за чашку чаю.

— Сейчас,— заторопилась Ляля.— Одну минуточку, мама.

Под столом глухо заворчала Редька.

— Опять эта ужасная собака! — недовольно проговорила мать.

— Не обращай внимания,— посоветовал Алексей Кириллович.

Она подошла к зеркалу, поправила пышные пряди волос на лбу и на висках. Руки у нее были полные, очень белые, с ямочками на локтях. В зеркале глянула на нас, как бы проверяя, смотрим ли мы на нее, улыбнулась, потому что мы оба смотрели.

Не прошло и десяти минут, как на столе уже стоял кипящий, прямо с плиты, чайник, на тарелочках красовался холодец собственного Лялиного приготовления, не очень вкусный, зато вобравший в себя уйму Лялиных стараний и времени, сыр, нарезанный ломтиками, любительская колбаса.

Как уже бывало не раз, я порывалась уйти, и они опять не пускали меня. А Лялина мать все говорила, говорила, и, пожалуй, только лишь о себе.

Рассказывала про свои успехи в театре, про то, что у нее много поклонников, и про интриги завистников, которые спят и видят, как бы угробить ее, поскольку она и красива, и талантлива, и любима публикой.

Ляля слушала, не перебивая, и мать, вдохновленная Лялиным вниманием, непритворным интересом, что называется, распускала перья. Лишь о муже своем она ничего не говорила. Как не было его никогда.

Ляля вышла подогреть чайник. Алексей Кириллович собрался на работу, мы остались с Лялиной матерью вдвоем.

Она вынула пачку сигарет, закурила, выпустила дым колечками, лениво сощутив глаза, наблюдала, как медленно тают колечки дыма.

— Вот так и вся жизнь,— сказала.

— Вы о чем? — переспросила я.

— О многом. Все как сон. Только приехала и опять уезжаю.

— Вам не хочется ехать? — спросила я.

— Не знаю. И хочется и не хочется. Лялю жаль.

— Почему вы ее жалеете? Ей хорошо, поверьте, Алексей Кириллович обожает девочку, и она тоже очень привязана к нему.

— Все так, — согласилась она. — Но разве мать может кто-нибудь заменить?

Я хотела сказать, что такую мать, как она, можно заменить, — в сущности, Алексей Кириллович так и сделал, заменил девочке мать, бросившую ее когда-то, — но не могла выговорить ни слова. Странное чувство владело мною. Тут было все вместе — и жалость, и неприязнь, которую, как я ни пыталась, все-таки не могла побороть до конца, и даже ревность к ней: ведь как бы там ни было, мать имела куда больше прав на Лялю, чем все мы вместе.

Она погасила сигарету в пепельнице.

— Странное существо человек, — сказала медленно. — Вот возьмите меня, к примеру. Ведь мне абсолютно нельзя курить, просто-напросто это яд для меня, и все равно, хоть и знаю, что нельзя, курю!

— А вы попробуйте, бросьте, — посоветовала я.

— Не могу. — Она вдруг как-то растерянно, необычно для нее улыбнулась. — Верите? Знаю, что отравляю себя каждую минуту своей жизни, просто отравляю, и все тут, и не могу отказаться, хоть убейте, не могу!

— Напрасно, — сказала я совсем так, как говорят иные школьные учительницы.

— Мне будет трудно без Ляли, — помолчав, сказала она.

Я кивнула:

— Верю. Ее нельзя не любить.

— Она сильная, вы не находите? Какая-то удивительно сильная для своих лет и такая надежная.

Я ничего не ответила ей. Мне подумалось было, что она снова играет, не может в силу давней привычки не играть, но глянула на ее опущенную голову, в красиво уложенных волосах уже мелькали кое-где седые нити, рука, в которой дымилась сигарета, еще по-молодому белая, с нежной, выхоленной кожей, уже чуть-чуть была тронута увяданием. Должно быть, с каждым днем все сильнее, все явственней станут приметы увядания, постепенно вся ее броская внешность потускнеет, моложа-

вость исчезнет, как дым, и она разом превратится в старуху.

Такого рода женщины часто разом стареют, словно годы вдруг мгновенно обрушились на них и они рухнули, не в силах выдержать внезапную тяжесть.

Я отвела глаза в сторону. Стало боязно, что она встретится со мною взглядом и разгадает мои мысли, а я не хотела, чтобы она поняла, о чем я думаю.

Мне было жаль ее, даже не знаю, почему, а жаль.

Может быть, потому, что она не ценила счастье быть Лялиной матерью, или потому, что она наверняка не так, как надо, прожила свою жизнь? Впрочем, кто знает, как надо по-настоящему прожить жизнь, чтобы считать ее удавшейся.

Она закурила новую сигарету, задумалась, глядя в одну точку. Сигарета дымилась в ее руке, верхняя, чуть нависшая над нижней губа едва заметно дрожала.

На лбу вспухла морщинка, она показалась мне вдруг очень немолодой, усталой и такой какой-то неприкаянной, неприятной...

Когда она ушла, Ляля открыла форточку.

— Не хочу, чтобы было накурено: дедушка бросил курить, а если почувствует табак, вдруг опять начнет курить?

— Не начнет,— сказала я.— У него сильная воля.

— А на днях взял да закурил.

— Вот как?

— Я с ним ругалась до ужаса, все-таки добилась, что он пообещал мне — больше никогда, ни за что ни одной затяжки...

— Твоя мама много курит,— сказала я.

Ляля грустно покачала головой:

— Полторы пачки в день, не меньше. Ну что мне с нею делать?

— Добейся своего, чтобы она тоже бросила курить.

— Это ужасно трудно. У нее не хватает силы воли.

— А ты заставь. Надеюсь, у тебя хватит силы воли.

— У меня-то хватит,— согласилась Ляля.— Она обещала мне, что бросит непременно курить.

— Когда?

— Когда? — переспросила Ляля. Понижила голос, хотя в комнате, кроме нас двоих, никого не было.— Она

сказала так: «Ты должна жить со мной, тогда я все буду делать так, как ты хочешь. И курить тут же брошу».

У меня сердце упало. Сбылись, выходит, самые мои горькие предчувствия? Ляля хочет уехать к матери? Насовсем? Как же так?

— Ты подумала о бабушке? — спросила я. — Что с ним будет? Как он это все перенесет?

Ляля не ответила мне. Опустив голову, упрямо смотрела куда-то в угол комнаты.

— Я все время думаю о бабушке, — сказала наконец, как бы через силу.

— И что же?

Она подошла ко мне, взяла мою руку, крепко, изо всех сил сжала в своей ладони.

— Поймите, бабушка сильный, он не сломается. А ей нельзя быть одной, без меня.

— Она же не одна, — заметила я. — У нее там какой-то муж есть, помнишь, она рассказывала?

Ляля опять не ответила мне, как не расслышала.

Спустя два дня мать Ляли уехала. И словно бы жизнь снова вошла в свою колею.

Но что-то надломилось, будто ветка от мороза или сильного ветра. Зайдешь к ним, и уже нет ощущения той привычной непринужденности, что царила прежде в их маленькой семье. Или мне это просто казалось так, потому что я помнила сказанные Лялей слова? Я ни на минуту не забывала о них и порой даже страшилась зайти к Ляле: я приду, а она мне сразу вот так вот, без предупреждения — уезжаю!

Впрочем, почему без предупреждения? Она же мне сама сказала — мать просит ее поехать к ней.

Неужели поедет? Бросит деда и поедет?

Я спрашивала себя и не находила ответа. А ему, Алексею Кирилловичу, я не говорила ни слова, и он тоже ничего не знал.

Как-то Ляля спросила его, какой муж у матери, плохой или хороший?

Дед пожал плечами:

— Не плохой и не хороший. Обыкновенный.

— Скорее плохой или скорее хороший? — не отставала Ляля.

— Я же тебе уже сказал: он не плохой, а что касается

его хорошесть, то он, возможно, и добрый, только доброта у него... как бы тебе сказать... такая какая-то витринная.

— Как? Как? — засмеялась Ляля. — Повтори, дедушка, как здорово сказано! Лучше не придумаешь.

— А я не придумывал, я говорю то, что есть, — сказал дед. — Сейчас попробую, поясню тебе мои слова. Есть доброта не показная, скромная, которая не любит кричать о себе в голос.

— Ты такой, — сказала Ляля.

— Не знаю, тебе виднее. А есть показуха, именно витринная доброта, когда человек кричит о своих благодеяниях на весь мир, когда делает какие-то одолжения и гордится тем, что делает, и хочет, чтобы все кругом знали об этом и прославляли его за необыкновенную доброту. Поняла теперь, что значит витринная доброта?

— А папа мой какой? — спросила Ляля. — Тоже в этом роде?

— Папу твоего я очень мало знал. По-моему, он был неумелый, неуклюжий, но искренний, непоказной человек. Без какой бы то ни было фальши или все той же показухи.

— Такой, как мама, — сказала Ляля. — Он такой, как мама, верно, дедушка?

— Да, — не сразу ответил дед. — Такой же, как твоя мама.

— А Юра какой? — спросила Ляля.

— Хороший твой Юра, чистой воды человек.

Надо было видеть, как засияли Лялины глаза, каким радостным румянцем вспыхнули щеки.

И я тоже обрадовалась. Нет, она не уедет, не бросит нас, своего деда и Юру, которого, должно быть, полюбила...

Но после, оставшись одна, я снова начала сомневаться.

Сомнения терзали меня, я подолгу не могла заснуть по ночам, но ни с кем, ни с одним человеком не могла поделиться своими мыслями и тревогами.

Однажды я застала у них Юру. Он читал свои стихи. Я слушала его стихи впервые: это были выпретенные, полные трескотни и назойливых рифм строчки. По выражению моего лица Ляля поняла, что стихи мне не нравятся.

Она сжала мою ладонь, шепнула:

— Он ужасно обидчивый...

Потом Юра кончил читать и снова стал таким, как всегда.

Он спросил:

— Хотите, я прочитаю вам гениальное стихотворение?

— Твое? — спросила я.

Он опять не обиделся, он оказался куда умнее своих стихов. Засмеялся, сказал:

— Нет, не мое. Всего две строчки:

Так что ж я боюсь умереть,

Если спать я ложусь с мольбой, чтоб все пережили меня?<sup>1</sup>

Великолепно, не правда ли?

Я не успела ответить. Внезапно Ляля закрыла лицо ладонями.

Мы с Юрой одновременно испугались. Первой опомнилась я.

— Ляля, что с тобой? Что случилось?

Даже Редька что-то почувствовала и начала подпрыгивать на своих толстых лапах, стремясь лизнуть Лялю в нос, чтобы на свой манер утешить ее.

Ляля вытерла ладонью слезы.

— Хорошо, что дедушки нет.

— Конечно, хорошо, — ответил Юра. — А чего это ты расклеилась?

— Прочти еще раз...

— Не буду.

— Почему?

— Опять реветь станешь.

— Стану, — задумчиво произнесла Ляля. — Меня эти стихи как-то вдруг ударили вот сюда... — Она ткнула себя пальцем в грудь.

— А ты впечатлительная, — сказал Юра. — Скажи, старушка, часом, сама стихи не пишешь?

— Еще нет.

— Значит, будешь, — уверенно заметил он. — Тогда вспомнишь меня.

Она медленно произнесла:

— Я тебя и вправду буду вспоминать часто.

---

<sup>1</sup> Стихи Вл. Бурича.

— Что значит — вспоминать часто? — удивился он. — Никак, уезжать куда-то собралась?

— Да.

Прежде чем она вымолвила это короткое «да», я уже безошибочно поняла все.

— Ты уезжаешь? — спросила я. — К маме?

Ляля кивнула.

— Почему ты так решила? — спросил Юра.

— Я ей нужна. Она совсем одна теперь. Ее муж бросил, ушел к какой-то костюмерше из их театра.

— Вот оно что, — протянул Юра.

— Она уже тогда, когда приезжала, сказала тебе, что разошлась с мужем? — спросила я.

— Да, уже тогда, только просила не говорить никому. Может быть, надеялась, что помирится с ним.

— Так, так, — сказал Юра.

— Она совсем одна, пойми, — сказала Ляля. — У нее больное сердце, и никого нет рядом, и она такая одинокая.

— Так возьми ее сюда.

— Я уже думала, но это невозможно. Дедушке будет очень тяжело. Мама трудный человек, и я не могу заставить дедушку взять маму. Он не откажет, ради меня согласится, но он с нею не уживется.

— Тогда не уезжай, оставайся здесь, — сказал Юра.

— Нельзя, — сказала Ляля. — Сейчас я очень нужна маме.

Я спросила:

— Думаешь, ты дедушке не нужна?

Мне вспомнилось лицо Алексея Кирилловича, когда он говорил о Ляле, и снова послышался его голос:

«Боюсь умереть...»

Эти два слова, произнесенные спокойным, даже будничным тоном, поразили меня тогда своей обнаженной горькой сущностью, неприкрашенной правдой. Он знал, чего ему следует бояться, и справедливо страшился уйти, оставив Лялю незащищенной.

Ляля не ответила мне, наклонилась, потрепала Редьку за уши. Потом подняла голову, сказала:

— И он мне нужен, но я не могу иначе. Сейчас я для мамы нужнее всех.



Она собиралась ехать сразу после окончания школы.

— Даже не желает остаться на выпускной вечер,— сказал дед.

Он резко изменился за это время, похудел, весь как-то ссохся.

Он уже не уговаривал ее, понял — все будет бесполезно. Только однажды не выдержал, сказал в сердцах:

— Стоит ли тебе жертвовать своей жизнью для кого-то?

— Дедушка,— остановила его Ляля,— подумай, о чем ты говоришь! Разве для мамы что-то делать — это для кого-то?

И он замолчал, нахмурился.

А она вдруг испугалась, что обидела его, подошла к нему, прижалась щекой к его щеке:

— Дедушка, не сердись, слышишь?

— Я не сержусь, Ляля.

— Дай честное слово.

— Даю.

— Нет, самое честное-расчестное!

— Честное-расчестное!

— Повтори за мной: честное-расчестное, что не сердишься на меня!

— Честное-расчестное, не сержусь на тебя!

Это была их давняя игра. Ляля могла переспрашивать сколько угодно, а дед столько же отвечать и клясться: честное-расчестное слово!

И мне казалось, обоим одинаково нравится эта игра, и старому и малому.

Мы провожали ее втроем — дед, Юра и я.

Юра сказал:

— Хоть напиши когда-нибудь, слышишь?

— Слышу,— ответила Ляля.

Алексей Кириллович произнес с горечью:

— Внучка окончила школу, а я даже не догадался хотя бы что-нибудь подарить ей.

— И превосходно сделали,— сказала я.— Вы же ее знаете: что бы вы ей ни подарили, все равно подарит кому-нибудь, кто попросит.

Ляля засмеялась:

— И то верно.

Я спросила:

— Когда ты приедешь?

— Осенью. В сентябре или в октябре.

— Или в январе,— продолжил Юра.

Она не ответила, глянула на деда. Подошла, обняла за шею, прижалась к его плечу.

— Дедушка, я приеду, честное слово, осенью я приеду обратно, к тебе...

Он улыбнулся:

— Честное-расчестное?

— Честное-расчестное, самое пречестное-прерасчестное.

— Очень хорошо,— сказал он.

— Дедушка,— сказала Ляля,— очень тебя прошу, не надо так широко улыбаться, тебе не идет.

— Разве? — удивился дед.

По Лялиным щекам катились слезы одна за другой, словно стремились догнать друг друга. Я боялась, что она не выдержит, разревется в голос.

Но она пересилила себя, сказала:

— Дедушка, ты не забывай: с Редькой надо непременно гулять на ночь, слышишь?

— А я не знаю, что ли? — спросил дед.

— Нет, просто напоминаю тебе, с нею надо обязательно гулять на ночь, когда бы ты ни ложился спать.

Ляля взяла меня за руку:

— Тетя Ася, дайте слово, что вы на меня не рассердитесь.

— Даю. А за что я должна на тебя рассердиться?

— Честное-пречестное, что не рассердитесь?

— Вот именно, честное-пречестное. Так за что же я должна на тебя рассердиться?

Лялины светлые глаза просительно смотрели на меня.

— Вы иногда, ну не часто, ну пусть хотя бы в выходной, берите Жульку Колотыринскую, погуляйте с нею подольше, ладно?

— Нечего подлизываться, не купишь,— отрезала я.

— Я не подлизываюсь, просто говорю то, что есть. Дедушка,— сказала она.— Я сейчас подумала о Редьке. Ты ей на обратном пути купи ливерную колбасу, она ее так любит.

— Я тоже люблю ливерную колбасу,— сказал Юра.

— Но ты не будешь плакать, а Редька будет.

— Почему это я не буду плакать? — удивился Юра.— Вот такими слезами, с горошину величиной, весом в пятьдесят граммов каждая!

— Да ну тебя, я же не шучу! Ты понимаешь, Редька будет очень сильно скучать по мне.

— Я тоже буду сильно скучать,— сказал Юра.

— Правда? — переспросила Ляля. Серьезно, почти хмуро посмотрела на него, потом перевела взгляд на деда. Светлые глаза ее потемнели.

Мне казалось, сейчас она в полной мере все как есть осознала: что-то будет с дедом, когда она уедет, как-то он перенесет эту разлуку?

Когда Ляля уже стояла на площадке вагона, примчался Петька Симагин. Стоя рядом со мной, сказал, снизу вверх глядя на Лялю:

— Когда ты приедешь, я, наверно, уже в другой школе учиться буду.

— Почему в другой? — удивилась Ляля.

— Меня выгонят, поняла?

— Поняла. А почему выгонят?

— Потому. Я без тебя все равно ни в одной школе учиться не буду. Так и знай!

Петька обернулся и увидел Юру. Нахмурился, надул губы; должно быть, и в самом деле давняя вражда, как и старая любовь, не забывается, не проходит бесследно.

И вдруг Петька подошел к Юре, протянул ему руку. Сказал, глядя в сторону:

— Привет.

Юра ответил:

— Привет.

Если бы я не боялась обидеть Петьку, я бы непременно сказала:

«Общая беда объединила и примирила обоих».

Но я, разумеется, не сказала ни слова.

Потом Петька по очереди поздоровался со мной и с Алексеем Кирилловичем.

— Петя,— строго сказала Ляля,— надо учиться, стараться хорошо учиться, а здесь ли я или не здесь, это, уж поверь, все равно.

— Нет,— сказал Петька,— не все равно.

В эту минуту он вдруг показался мне выросшим, почти взрослым...

Молча, пристально вглядывался он в Лялю, потом отвернулся, побежал обратно, к вокзалу.

Юра сказал:

— Если хочешь, я буду вместо тебя заниматься с ним.

— Нет, не хочу,— сказала Ляля.— У тебя ничего не получится.

— Почему ты считаешь, что у меня ничего не получится?

— У тебя не хватит терпения,— ответила Ляля.

Вздыхнула, покачала головой. Должно быть, неосознанно подражала кому-то из старых школьных учителей. «Нет,— подумала я,— как хотите, а все-таки в Ляле сильны гены матери, актрисы...» Раньше я не замечала ничего, но, с тех пор как появилась Лялина мать, мне стало бросаться в глаза их сходство, может быть, не всегда четкое, но все-таки неоспоримое. Ляля, как и мать, тоже любила подражать, невольно копировать кого-то, кто нравился ей.

Алексей Кириллович посмотрел на часы:

— Осталось без малого четыре минуты.

— Всего-навсего? — спросила Ляля.— Четыре минуты?..

— Уже три с половиной,— сказал Юра.

— Пиши, дедушка,— сказала Ляля.— Слышишь? Два раза в неделю непременно пиши!

— Хорошо,— сказал он.— Ты тоже пиши.

— Конечно. И ты, Юра, пиши!

— Я буду письма в стихах писать.

— Ничего, я не боюсь, выдержу!

— А вдруг не выдержишь? — начал было Юра, хотел еще что-то добавить, но тут вагон медленно тронулся.

Рослая проводница в синем берете вынырнула из-за Ляли, встала впереди нее.

— Будьте здоровы! — закричала Ляля. Замахала рукой.

Юра побежал по перрону вслед за поездом. Я осталась стоять рядом с Алексеем Кирилловичем.

Он смотрел в ту сторону, куда ушел состав, спросил, не отводя глаз:

— Как думаете, она вернется?

— Да,— сказала я, скорее чтобы утешить его.— Непременно вернется.

— Но когда?

— Может быть, и в самом деле осенью.

— Нет. Она не вернется осенью.

Подбежал Юра.

— Вот и все,— сказал.— Укатила.

Мы повернули к метро. Алексей Кириллович споткнулся, я схватила его за руку.

— Осторожно.

— Да, да,— рассеянно проговорил он.— Это я так, задумался.

Юра проводил нас до дома.

— Может быть, зайдешь? — спросил его Алексей Кириллович.

— Не могу. Мама заболела, надо домой бежать.

— Тогда заходи на днях. Одним словом, когда сумеешь.

— Непременно.

Мы медленно поднимались по лестнице.

— Она не приедет осенью,— сказал Алексей Кириллович, останавливаясь на площадке третьего этажа.

— Ну, зимой приедет.

— И зимой не приедет.

— Почему?

— Мать ее не пустит. Она ведь цепкая. Как вцепится в кого-то, ни за что не отдаст.

— А если Ляля сама захочет уехать?

Он передернул худыми плечами:

— Мать уприсит, и она останется. Вы же знаете, Ляля не умеет отказывать.

— А тут возьмет и откажет и обратно и вам приедет.

— Хорошо бы,— сказал он.— Только дождусь ли?

Мы поднялись на наш этаж. Редька услышала шаги своего хозяина, залаяла за дверьми. Алексей Кириллович страдальчески сдвинул брови:

— Надо же так! Позабыл, совсем из головы вон, и вы тоже хороши, не напомнили мне!

— Что с вами? — удивилась я.— Что вы позабыли и чего я вам не напомнила?

— Купить Редьке ливерной колбасы, Ляля просила, вы же слышали.

— Я после пойду в магазин и куплю ей этой самой ливерной.

— Хотя,— Алексей Кириллович развел руками,— хотя, полагаю, она к ней и не притронется!

— Думаете?

— Уверен. Она уже теперь начала скучать по Ляле, а после что будет?

— И Ляля тоже уже теперь скучает, прежде всего по вас,— добавила я.— Едет в поезде и все равно скучает.

Алексей Кириллович кивнул:

— Скучает, а все же уехала.

— Не сумела отказать матери.

— Излишняя доброта — штука вредная.

— Вы сами ее такой воспитали, Алексей Кириллович. Вы ведь тоже добрый.

— Я не злой, это верно, но я злопамятный. И для меня нет срока давности,— сказал он.

Я спросила:

— О каком сроке давности вы говорите?

— Как бы вам объяснить... Если меня кто-либо обидит, по-настоящему, жестоко, я запомню, на всю жизнь запомню. Может быть, мстить не буду, я не мстительный, но помнить — запомню!

— А Ляля...— начала я.

— А Ляля забывчива. Я, к примеру, обижен за Лялю, за то, что Вера, ее мать, когда-то кинула ее на меня, словно котенка надоевшего в хорошие руки отдала, и успокоилась, и забыла, и не вспомнила ни разу, пока беда не грохнула, пока одна как перст не осталась.

— А мне кажется,— сказала я,— что Ляля не сердится на мать. Нисколько не сердится.

— И в уме не держит сердиться,— согласился он.— Признаться, я бы даже хотел, чтобы Ляля на нее обиделась, чтобы хотя бы просто запомнила, как мать с нею поступила.

Он помолчал, потом сказал:

— Ей будет трудно жить.

— На добрых воду возят,— вспомнила я старую поговорку.

— А на таких, как Ляля, особенно легко возить, ведь никогда не пожалуется, что тяжело, не под силу...

Редька снова залаяла. Требовательно и в то же время как бы жалуясь на что-то или на кого-то.

— Сердится, что я не иду,— усмехнулся Алексей Кириллович.— Вы знаете, какой у этой собаки необыкновенный ум? Удивительный пес, все понимает, честное слово!

— Честное-расчестное,— сказала я.

И он повторил серьезно:

— Честное-расчестное!

В этот миг он показался мне на диво схожим с Лялей, словно она и в самом деле была его самой что ни на есть родной внучкой.

## Забот полон рот

**Я** научилась плавать лет в девятнадцать и с той поры полюбила плавание, как любят родители позднего ребенка.

Едва лишь наступало тепло, как я уже мчалась на пляж, в Химки, в Серебряный бор, в Куркино-Машкино, в Пирогово — куда придется, была бы только река.

В воде я чувствовала себя отлично; я умела плавать и саженками, и баттерфляем, и по-собачьи, а потом, когда уставала, ложилась на спину, и вода держала меня. Я глядела в небо, сложив на груди руки, и думала о том, о чем обычно как-то не хватало времени хорошенько и всерьез подумать.

Иногда со мной ездила купаться Наташа Гончарова. Она была года на полтора моложе меня, жила двумя этажами ниже. Мама ее, Вероника Степановна, была актриса драматического театра, отец переехал в другой город, куда-то на юг, уже давно. Наташа была тогда совсем маленькой.

За эти годы у Наташи случилось несколько отчимов, они сменяли друг друга примерно каждые четыре-пять лет. Последний отчим, дядя Кузя, ушел от них года три назад, и с той поры Вероника Степановна уже не выходила замуж, предпочитая жить вдвоем с Наташей.

К слову, дядя Кузя был, по словам Наташи, самым приятным из маминых мужей.

— Ты так считаешь потому, что он был самый молодой,— предположила я.

Кузя был моложе Вероники Степановны лет на пятнадцать, а то и на все двадцать!

— Нет,— сказала Наташа.— Что ты! До него был Сеня — тоже молодой, но такой вредный, мама из-за него столько слез пролила.

Наташа — высокая, длинноногая, на вид выглядит старше своих лет. Держится по-взрослому, несуетливо, солидно, с чувством собственного достоинства. У нее прекрасные волосы, хорошая кожа, смуглая, как бы хранящая загар круглый год.

— И все,— заявляет Наташа, со вздохом разглядывая свое лицо в зеркале.— Больше ничего мало-мальски сносного...

— А фигура? — спрашиваю я.— Фигуру что, не берешь в счет?

Наташа сложена божественно: такая тоненькая, гибкая, с высокой грудью, талия — вот-вот переломится.

— Что фигура,— возражает она,— если морда подгуляла!

И добавляет с сожалением:

— Надо же так! Я тоже Наталья Гончарова, только та была первая красавица России, а я...

Мне думается, что она преувеличивает свою некрасивость. Правда, ее нельзя назвать хорошенькой, даже просто миловидной, но временами она бывает привлекательна; например, когда идет по пляжу, купальник туго обтягивает смуглое, сильное тело, волосы распущены по плечам, и вся она как бы лучится молодостью и свежестью.

Закончив десятилетку, Наташа решила поступить в МГУ, на факультет журналистики. Бог ее знает, почему именно на этот факультет. На мой взгляд, у нее нет особых данных, чтобы стать журналисткой, но она сказала:

— Почему нет?

На ее месте точно так ответил бы, наверно, почти каждый выпускник десятилетки. Чего греха таить, всем известно, что школьники зачастую выбирают тот или иной вуз не по велению души, а просто, чтобы пойти куда-то дальше учиться, определиться после школы, или потому, что друзья-товарищи пошли именно в этот вуз.

Так оно бывает нередко. По себе знаю.



Из Наташиного класса три девочки и два мальчика сговорились, решили поступить на факультет журналистики. Поступил лишь один, остальные недобрали очков. В том числе и Наташа. Теперь она работает в пошивочной мастерской театра, того самого, в котором служит Вероника Степановна.

Наташа хорошо шьет, но я знаю, работа эта не по ней. А Вероника Степановна не может допустить мысли, что Наташа очутится за бортом высшего образования. Таким образом, на следующий год Наташа снова будет поступать в вуз, только еще не определила, в какой именно.

В школе Наташа училась по всем предметам отлично, и Вероника Степановна гордилась ее успехами. Когда приходили гости, она, как бы невзначай, брала Наташину тетрадку с сочинением, показывала исписанные страницы, нигде ни единой помарочки, и говорила жалобным тоном:

— В современной школе год от года все труднее учиться.

— Хватит, мама,— возражала Наташа, стесняясь гостей, читающих ее сочинение,— перестань, не надо.

Но Вероника Степановна не слушала ее.

— В наше время куда легче было учиться. Поверите, я, мать, удивляюсь, как много всего знает моя дочь, просто в ее годы это какой-то колодец знаний!

Должно быть, Вероника Степановна хотела сказать «кладезь», но, в общем, гости понимали ее. И с уважением глядели на Наташу, а она готова была сквозь землю провалиться.

После говорила мне:

— Ну чего мать хвастает? Если бы у меня были к чему-то определенные способности, а то так, среднеарифметическая хорошая ученица, по всем предметам пятерки и никакого особого призвания!

— Неправда,— утверждала я.— У тебя есть призвание — ты чудесно готовишь, шьешь, вяжешь, вышиваешь...

— Одним словом, домашняя хозяйка со знаком качества,— усмехалась Наташа.— Но ведь тогда высшее образование совсем не обязательно.

Впрочем, она не спорила с матерью. Мать желала, чтобы Наташа училась в вузе,— пусть будет так!

Вероника Степановна, очевидно, играет свой последний сезон в театре. Наташа призналась мне по секрету, что, с тех пор как в театр пришел новый главреж, вопрос об уходе Вероники Степановны можно считать решенным.

— Только я знаю, ей ужасно не хочется уходить,— говорит Наташа.

— Ну, и не уходила бы!

— У нее жуткие отношения с новым главным, он у них очень лихой, сразу решил от всех старых актеров избавиться.

— А если в спектакле нужен будет старик или старуха?

Наташа пожимает плечами:

— Не знаю, как-нибудь обойдутся. Загримируют какого-нибудь молодого стариком, приделают ему бороду, наведут морщины, увеличат нос и мешки под глазами...

Помолчав, она признается:

— Жалко мать, только я стараюсь не подавать виду, что жалко, потому что жалость все-таки в какой-то степени обижает.

— Вот уж нет,— отвечаю я.— Жалеть — это прежде всего любить. Раньше простые люди так и говорили: «Я его жалею, значит, люблю!»

Но Наташу переубедить трудно.

— А я считаю, что жалость унижает и обижает.

В конце концов каждая из нас остается при своем мнении.

Вероника Степановна и Наташа не похожи друг на друга, разве только фигуры у обеих стройные и волосы густые, блестящие, редкого цвета — бледно-золотого с чуть заметной рыжинкой.

У Вероники Степановны странное лицо: профиль резко отличается от анфас. В анфас выражение ее лица безмятежно, умиротворенно, а профиль кажется одержимым, как бы устремленным вперед, страстно-нетерпеливым; может быть, такое впечатление создается из-за подбородка, особенно заметного в профиль.

Когда я смотрю на Веронику Степановну, мне кажется, что поначалу природа задумала сделать ее красавицей. Она щедро одарила ее большими бирюзовыми глазами, прямым, с тонкими, вздрагивающими ноздрями носом, великолепным цветом лица, но вдруг в самом разгаре

своей работы природа то ли утомилась, то ли вдруг передумала и неожиданно вкатила прелестному лицу длинный, тяжелый подбородок.

Разом изменился весь облик, подбородок как бы перечеркнул красиво и тщательно выпиленные черты, подобно тому как перечеркнута красным крестом сигарета на плакате, запрещающем курить.

Однако ни злополучный подбородок, ни сравнительно вздорный характер не мешали Веронике Степановне пользоваться успехом у мужчин и регулярно выходить замуж.

Однажды в субботу мы отправились с Наташей в Химки.

Был ясный, теплый июньский день. Летел пух с тополей, на улице мальчишки собирали белые пушинки, похожие на вату, и поджигали их. Ненадолго вспыхивал яркий огонь, быстро проползал по тротуару, и вновь угасал. Мальчишки радостно галдели.

Наташа сказала:

— Иногда я им завидую.

— Кому? Мальчишкам? За что же?

— За то, что они такие молодые.

Я невольно засмеялась. Наташа обиженно спросила:

— Чего ты смеешься? Я не собираюсь тебя смешить.

— Намного ли ты старше этих самых мальчишек?

— Дело не в годах. Они, видно сразу, беззаботные.

— А у тебя что?

— У меня забот полон рот. Первая, самая главная забота — как быть с мамой, когда ее уберут из театра. Что она будет делать? Ведь она же не может спокойно слышать о пенсии, а уйти ей придется. Мне говорили, что такие вот стрессы очень вредны для пожилых людей, что они их очень трудно переносят, когда вдруг теряют привычный ритм жизни, а ведь мама пожилая, что там ни говори.

— Ну, не такая она пожилая, — говорю я.

— Такая, — повторяет Наташа, — только ей не надо говорить об этом. Потом — я задумала сделать ремонт, а в ремонтной конторе нет хорошей плитки, и нет пластика для кухни, и мастера обещают прийти работать не раньше чем через три месяца, а когда мне готовиться в вуз? И в какой вуз готовиться, ты мне можешь сказать? А еще папа приезжает через две недели...

— Хочешь его видеть?

— Хочу. Только не хочу звать к нам, пока не сделаю ремонт.

— Охота блеснуть перед ним свежепокрашенным потолком?

— А как же! Пусть не думает, если мы с мамой живем вдвоем, так не можем без мужика справиться. Потом надо маму послать на рентген, что-то у нее с горлом...

— Хватит! — решительно заявляю я. — У меня от твоих забот и вправду голова закружилась.

— Пошли в воду, — предлагает Наташа.

— Пошли!

Мы лезем в воду. Я поплыла вперед, она отстала. Я плыла и думала о том, что хотела бы быть на месте Наташи, хотя у нее и в самом деле всякого рода забот предостаточно. Но она увидит своего отца, а мне никогда уже не встретиться с моим отцом.

Я вылезла из воды, пробежала несколько шагов и легла рядом с Наташей. Песок был сухой, основательно прогретый солнцем. Наташа пересыпала узенькие, горячие струйки песка сквозь пальцы. Рядом с ней лежал журнал «Наука и жизнь», раскрытый на середине.

Я увидела заключенный в овал портрет: толстые щеки, которые упирались в стоячий воротничок, водянистые глаза честолобца, самодовольно сжатые губы.

— Кто это?

Наташа приоткрыла один глаз:

— Ты о ком?

— Чей это портрет в журнале?

— А, этот? Гёте, Иоганн, он же Вольфганг. Знаешь такого?

— Знаю, — ответила я. — Это он сказал: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Подумать только, этот бюргер с пухлыми щечками и есть великий поэт Гёте!

— А ты не гляди на него, — посоветовала Наташа, — лучше вспомни, что он еще написал.

— Помню, например, «Фауста».

— Мамино любимое произведение, — сказала Наташа. — Мама говорит, что только истинно великий поэт мог так сильно передать трагедию бессилия человека перед возрастом.

— Актрисы очень не любят стареть, — сказала я.

Наташа резонно спросила:

— А кто любит?

— Наверно, никто. Мой отец говорил: «Все хотят жить долго, но никто не хочет быть стариком».

— Сильно сказано. Это он сам придумал?

— Не знаю,— сказала я.— По-моему, нет. Наверно, читал где-то.

— Сильно сказано,— еще раз повторила Наташа.— Мне вот, сама знаешь, далеко до старости, как до неба, я вообще не верю, что могу состариться, и то, как подумаю, что стану старухой, так страшно становится.

— А мне особенно жалко, когда красивые стареют,— сказала я.— Представь себе, какая-нибудь красавица глядится в зеркало и видит, что ее красота дряхлеет.

Наташа усмехнулась не без злорадства:

— Нам с тобой это не грозит. Нет покамест никакой дряхлости, а уж красоты и подавно, с самого начала не видать было...

Рядом с нами расположилась семья — папа, мама и дочка, толстенькое балованное чадо лет примерно десяти, одетое в щегольской купальник, должно быть, рассчитанный поначалу на взрослого человека, потом переделанный на девочку.

Оба родителя, тоже толстые, краснощекие, удивительно похожие друг на друга (говорят, это признак счастливого и гармоничного супружества), наперебой суют дочке то бутерброд, то пирожок или булочку, наливают из термоса горячий кофе в белый пластмассовый стаканчик и, когда она ест и пьет, влюбленно глядят на нее, совершенно одинаково приоткрыв рот.

— Вот счастливая семья,— говорит Наташа, продолжая пересыпать песок сквозь пальцы.— Ты не находишь?

— Нахожу.

— Только, по-моему, нельзя так баловать.

— Почему нельзя? — спрашиваю я.— Как видишь, можно.

— Воображаю, какой она вырастет неумехой и эгоисткой — на все сто!

— Необязательно. Может вырасти и хорошим человеком.

— Нет,— уверенно говорит Наташа,— наверняка вырастет законченной эгоисткой! Вот увидишь.

Я говорю:

— Полагаю, что вряд ли мне придется увидеть. Да и тебе тоже, наверно, мы ее и вообще-то никогда больше не встретим.

Наташа смеется:

— В общем-то, ты права.

— И в общем и в целом.

— И все-таки нельзя так баловать! — снова говорит Наташа.

Я знаю Наташу с раннего детства. Вся ее еще такая коротенькая жизнь прошла на моих глазах.

Ее никогда не баловали и, признаться, мало о ней думали. Вероника Степановна постоянно в театре, на спектакле, на репетиции, в свободные часы занята собой, своей личной жизнью. А Наташа предоставлена самой себе.

И она привыкла быть главой семьи. Все домашние заботы постоянно лежали на ее плечах. Во время каникул я ездила в пионерский лагерь, с родителями на юг, к бабушке в деревню, а Наташа большей частью оставалась в городе.

Мама ее либо уезжала на гастроли и нельзя было оставить квартиру без присмотра, либо была в Москве и ее тоже нельзя было оставлять одну. Правда, когда появлялся очередной муж, тогда Наташа становилась вроде бы посвободней. Однажды мы вместе с нею поехали в туристский поход, как-то ее отец достал ей путевку в молодежный лагерь «Спутник».

Помню, она училась в третьем классе и уже тогда готовила обед, ходила в магазин за продуктами, убирала квартиру.

Уже тогда она умела экономно расходовать деньги, старалась уложиться, чтобы дотянуть от одной полочки Вероники Степановны до следующей. Вероника Степановна отстранялась от всяких домашних дел, переложив все на дочку, и Наташа сама научилась шить, потому что маме нужно было переделывать и подгонять по ней различные туалеты, вязать для мамы кофточки и жилеты, чтобы ей не было холодно во время гастрольных поездок.

Еще зимой Наташа запасала нафталин, а весной начинала сушить зимние вещи на балконе, и относила мамины платья в чистку, и, не доверяя прачечной, сама

стирала нежнейшее мамино белье, мыла окна и полы, когда некого было допроситься прийти убрать квартиру.

Наташа задумчиво произносит:

— Я знаю, что я тоже балую маму, но что ж поделать, если она у меня такая.

— Какая?

— Такая, как есть.

Я осторожно спрашиваю:

— А тебе не надоело вести хозяйство?

— А что ты мне посоветуешь? Если не я, хозяйничать в нашей семье некому. Маме, сама знаешь, все до лампочки. Обеда нет, скажем, ну и не надо, обойдется молоком с хлебом; моль сожрала воротник — можно и без воротника проходить зиму; пол грязный, на то он и пол, чтобы его пачкали и по нему ходили; посуда стоит немытая, а к чему ее мыть, все одно скоро опять запачкается.

Наташа ни капельки не преувеличивает. Вероника Степановна именно такова. И уже никогда не станет иной, не может да и не желает хотя бы немного перемениться. Наташа и в самом деле избаловала ее на свою голову.

— Кто из вас старше: ты или мама? — спрашиваю я.

— Наверно, я, — отвечает Наташа. На гладком и чистом ее лбу неожиданно появляется морщинка.

Мне думается, что ей тоже хотелось бы, чтобы о ней заботились, чтобы опекали ее и сдували с нее пылинки, как оно и полагается в нормальной семье.

Родители, которые расположились рядом с нами, ублажив дочку, в свой черед наваливаются на еду. Едят слаженно, дружно — холодные котлеты, огурцы, копченую колбасу, сыр.

— Гляди, — тихо замечает Наташа, — как они ритмично стучат пломбами.

Да, видно, что это люди запасливые, любящие поесть и понимающие толк в еде. Эти не удовлетворятся молоком с хлебом, если почему-либо нет обеда. Впрочем, в такой семье никогда не случится подобного ЧП.

Наконец они насытились. Папа блаженно гладит свой туго набитый живот, мама надела на голову малиновую купальную шапочку и вместе с дочкой отправилась купаться. Они идут по пляжу, обе пухленькие, источающие полное, всеобъемлющее благополучие, очень довольные собой и всем окружающим миром.

Пройдет лет с десяток, дочка станет вылитой мамой, такой же массивной, грузной, с округлым румяным лицом и сочными губами, чуть тронутыми сиреневой помадой. А может быть, через десять лет сиреневая помада будет уже не модной, а модной окажется какая-нибудь другая, брусничная, или черешневая, или серо-буро-малиновая в крапинку? Все может стать...

Потом они возвращаются обратно, свежие, радостные, капельки воды усеяли их руки, спины, одинаковые у обеих наливные розовые плечи.

Обе смеются, наперебой рассказывая папе:

— Сперва, как войдешь в реку, холодно...

— Зато после до того хорошо...

— Я поплыла, и мама меня не догнала...

— Это тебе кажется, я от тебя ни на шаг не отстала...

Папа вынимает из кожаного футляра маленький изящный кассетный магнитофон, нажимает кнопку. Низкий голос, не то мужской, не то женский, вызывает со страстью:

Говорят, весна вернется,

Расцветет природа вновь...

Дочка равнодушно слушает, а мама стонет, словно голубь перед грозой:

— Как я люблю этот романс! Лионелла Джаваха неподражаема!

— Нет, ты только послушай,— шепчет мне Наташа,— я тебя умоляю, эта самая Лионелла дает на всю железку! Можешь себе представить, она сомневается, что весна вернется. Говорят, что вернется. А если бы не говорили, она бы считала, что весна не вернется? Что она навеки скрылась в горах Гималаев или за великим Кавказским хребтом?

Лионелла Джаваха между тем продолжает «давать на всю железку» дальше:

И весна мне не на радость,

Коль зима в душе моей.

Он уехал, он уехал...

— Ага, все-таки вернулась весна,— злорадно шепчет Наташа.— Только я бы тоже уехала от такой идиотки, бежала бы куда глаза глядят и ни разу не обернулась бы.

Она смеется, не выдержав, а мне кажется, все это



потому, что она завидует дочке, которую родители немилосердно балуют. Может быть, сама никогда не признается в том, что завидует, и все-таки...

Впрочем, мне тоже, признаться, завидно.

— Хорошо, когда все живут вместе,— говорит Наташа.

— Кто живет вместе? — не поняла я.

— Родители, отец и мать.

Я знаю, ей хотелось бы, чтобы Вероника Степановна помирилась со своим мужем, Наташиным отцом. Но, должно быть, этого не будет никогда. Слишком много лет прошло с того дня, как они разошлись, вряд ли Вероника Степановна и ее бывший муж снова сумеют наладить совместную жизнь.

Папа, мама и дочка, наслушавшись романсов, ублажив себя пищей физической и духовной, решают покинуть пляж. Родители несут кошелки, наверное ставшие значительно легче после обильного завтрака, дочка, прыгивая, бежит впереди. Солнце заливает их спины, упоенные сознанием собственной значимости, время от времени они улыбаются друг другу.

Они никого не видят, им никто не нужен. Весь мир для них — это они трое, только они сами, больше никто. Ни одна живая душа!

Я бросаю взгляд на портрет Гёте в журнале. Наверное, он был прав, этот холодноглазый сановный старик с надменным лицом испытанного царедворца: иные мгновения у иных людей и в самом деле прекрасны. Только никому не дано остановить хотя бы одно мгновение, все мгновения уходят бесследно, и плохие и хорошие.

Мы с Наташей молча глядим вслед тем, счастливым. А те уходят, не думая о нас, не думая ни о ком на свете, кроме как о самих себе.

Вечером я привычно захожу к Наташе. У них крохотная квартирка, всего в двух комнатах двадцать один метр и кухня что-то около пяти метров.

Комнаты почти пустые, ни Вероника Степановна, ни Наташа не любят, когда мебель загромождает комнаты, зато стены увешаны портретами Вероники Степановны в разных ролях, на некоторых портретах она очень авантажна, может быть, потому, что подбородок старательно заретуширован.

Самое уютное место в квартире — кухня. Стены и потолок окрашены одинаково в светло-оливковый цвет, на окнах зеленые занавески, вокруг стола табуретки, обитые зеленым ситцем. Над плитой — портрет Вероники Степановны в роли Раунтенделейн из «Потонувшего колокола» Гауптмана.

Портрету этому лет этак тридцать, не меньше, Вероника Степановна тогда получила свою первую роль в пьесе Гауптмана, только-только придя в театр после студии. Волосы распущены, руки прижаты к груди, глаза огромные, трагические.

— На кухне не полагается вешать фотографии, — сказала я как-то Наташе.

— А мне нравится, — ответила Наташа, — я люблю, когда готовлю, нет-нет да поглядеть на маму. И вообще, кому ее фотография мешает, скажи на милость?

Мне нечего ответить, и я молчу, чтобы не спорить, а Наташа — она права; если ей нравится фотография матери, она может повесить ее куда угодно.

Вероника Степановна сидит на кухне, пьет чай. Рядом с ней ее приятельница, актриса того же театра Алла Семеновна. Когда-то Алла Семеновна была, должно быть, красива, до сих пор у нее четкий, резко очерченный овал лица, от природы яркий рот, правильный нос, черные глаза умело подрисованы. Она беспрестанно курит, я уже не представляю себе Аллу Семеновну без сигареты, зажатой между пальцами, унизанными огромными перстнями. На запястье у нее широкие среднеазиатские браслеты, вокруг шеи цепочка с медальоном, на груди брошка в виде подковы, обсыпанной красными и голубыми камешками.

Когда она уходит, Наташа обычно открывает окна во всей квартире, чтобы выдуть табачный дым, и встряхивает в мусоропровод пепельницу, полную окурков со следами помады.

Я сажусь возле Вероники Степановны, Наташа наливает мне в чашку чай. Разговор, начатый еще до меня, идет о вчерашнем собрании в театре. Вероника Степановна и Алла Семеновна говорят очень громко, не слушая и перебивая одна другую. Я подмигиваю Наташе, она опускает ресницы. Мы обе не сомневаемся, разговор этот надолго, может быть до самой ночи.

— Я все понимаю,— говорит Вероника Степановна.— Ты меня, Аллочка, не агитируй, это напрасный труд, уверяю тебя, лучше скажи, почему ты взяла сторону Сержа? С какой такой стати?

Серж — это главный режиссер, пришедший в театр в начале года и против которого в труппе ведется планомерная, методическая борьба. Думается, что Вероника Степановна — не последняя скрипка в этой борьбе, ибо никак не может простить Сержу, что он предложил ей уйти на пенсию.

Кажется, Алле Семеновне он предложил то же самое.

Алла Семеновна молча прихлебывает остывший чай. Потом берет из пачки, лежащей на столе перед ней, новую сигарету, щелкает зажигалкой и, откинув голову, картинно пускает дым через ноздри.

— Да говори же! — нервничает Вероника Степановна.

— Изволь, дорогая,— отвечает Алла Семеновна,— сейчас постараюсь тебе все объяснить.

Она словно бы изъясняется словами какой-то давней своей роли.

Глубоко затянувшись, Алла Семеновна гасит сигарету о дно пепельницы, вынимает другую из пачки. Снова затягивается, снова выпускает дым через ноздри.

Вероника Степановна обеими ладонями подпирает свой немислимый подбородок.

— Алла, ну чего же ты тянешь?

Алла Семеновна слегка улыбается.

— Я поняла, Вероничка.— Она поднимает руку, бренча браслетами, и показывает куда-то наверх, на потолок, что ли: — Там не готовы еще к снятию. Потому я и взяла его сторону. Уяснила?

— Нет,— отвечает Вероника Степановна.

На кухне тепло, но она зябко кутается в халат. Халат прелестен: голубой, вельветовый, с бархатными отворотами. Помню, как Наташа ранней весной все воскресенья подряд просидела за машинкой, чтобы преподнести матери ко дню рождения этот халат.

«Бархат очень трудно поддается обработке,— говорила мне она,— впрочем, вельвет тоже не сахар в этом смысле».

Все это так, но Веронике Степановне хотелось иметь

именно такой халат, вельветовый, с бархатными отворотами, а Наташа ни в чем не может ей отказать.

— Непонятно? — удивляется Алла Семеновна. — Я тебе еще раз повторяю: там не готовы к снятию Сержа.

— Где — там?

— Сама не понимаешь? Там — это там.

— Хорошо, допустим, что не готовы, ну и что с того?

— А то, что я все сообразила и решила потому взять его сторону.

— На всякий случай?

— А почему бы и не на всякий случай?

Алла Семеновна отряхивает пепел в свое блюдце.

— Ведь если все повернется так, что он победит, то не мне с ним бороться. И не тебе тоже, дитя мое! — Положив ногу на ногу, она окидывает взглядом Веронику Степановну. — Так-то, детка, учись, пока я жива!

— Чему учиться-то? Лицемерить? Выгадывать? Кривить душой?

— Начинается!

Алла Семеновна шумно вздыхает и, насмешливо сузив глаза, обращается ко мне, призывая меня в союзники:

— До таких лет дожила, а все словно школьница-первоклассница талдычит о каких-то нравственных идеалах; я уже наизусть заучила, что она сейчас начнет: честность, принципиальность, верность своему слову. Что еще, детка? Валяй, выкладывай!

— А почему бы и не поговорить о честности и принципиальности? — спрашивает Вероника Степановна. — Да и о верности слову тоже не грех побеседовать...

Алла Семеновна молча курит. Весь ее вид красноречиво, без слов, утверждает: «Что еще можно от тебя ожидать?»

— Ты не любишь и не уважаешь Сержа, тебя с души воротит, как только он начинает вещать.

— Ну и что с того? — лениво спрашивает Алла Семеновна.

— Ты согласна со мной?

— Согласна, ну и что же?

— А то, что ты вдруг начала яростно защищать его, презирая его в душе и даже ненавидя!

— Мне не свойственны столь сильные эмоции.

Вероника Степановна не слушает ее.

— Только не волнуйся, он тебя тоже выгонит, не позабудет о тебе, правда, может быть, на два дня позднее, чем всех остальных.

— Поживем — поглядим.

— И глядеть нечего. Ты и сама знаешь, что я говорю чистую правду.

— Мама, тетя Алла, хотите пирога с капустой? У меня уже готов,— вмешивается Наташа.

Открыв дверцу духовки, она вынимает противень с румяным, пахучим пирогом. Кухня заполняется ангельским ароматом.

— Не надо,— мрачно изрекает Вероника Степановна, но тут же спохватывается,— как-никак есть закон гостеприимства, который невозможно обойти.— Алла, может быть, ты хочешь?

— Еще чего! Мне только горячего теста не хватало. Я и так за одну неделю ни с того ни с сего целых два кило прибавила!

Наташа вопросительно поглядывает на меня. Я мотаю головой:

— Не хочу.

— Напрасно,— говорит Наташа.

Пирог с капустой — вершина ее мастерства. Я еще никогда и нигде не едала такого вкусного пирога с румяной корочкой, с нежной и сочной начинкой.

— Ты знаешь, Алла, что такое Серж? — снова начинает Вероника Степановна.

— Еще бы не знать!

Я тоже его знаю. То есть видела его один раз, как-то была с Наташей в театре, и она показала мне Сержа. Он необычайно импозантен, представитель, темноволосый, румяный, с родинками на бабьем лице. Так импозантны и представительны зачастую бывают круглые дураки.

Но, думается, Серж не дурак. У него цепкие глаза, взгляд въедливый, пронзительный. И он превосходно знает, что ему следует делать, умеет все высчитать и разложить по полочкам и не совершает поступков, почему-либо для него невыгодных. Нет, какой там дурак...

— Мама, ты сварила картошку? — спрашивает Наташа.

— Какую картошку? — удивляется Вероника Степановна и тут же вспоминает: — Ах да, ты просила сварить картошку для винегрета.

— Где же она?

— Я забыла.

— Жаль.

— Нечего жалеть, вон в кастрюльке отварная картошка, видишь?

— Вижу. Так она же чищенная, а для винегрета нужна в мундире.

— Предрассудок, — решительно заявляет Вероника Степановна. — Почему непременно в мундире?

— Мамочка, — мягко говорит Наташа, — очень прошу тебя, не вмешивайся в дела, которые тебе непонятны. Позволь уж мне решать, какая, к примеру, нужна картошка для винегрета или чем следует заправлять суп.

— Ну и решай, пожалуйста, — великодушно позволяет Вероника Степановна и снова обращается к Алле Семеновне: — Так вот, твой Серж подонок.

— Он мой такой же, как и твой!

— Но я его не защищаю.

— Возможно.

— Алла, вспомни, что ты недавно сама же о нем говорила!

— «Все, что было, позабыла, все, что будет, позабудет», — устало отвечает Алла Семеновна словами некоей песни.

Она в образе, определенно играет какую-то роль, только ей известную. Губы презрительно опущены, глаза как бы невыспавшиеся, вечная сигарета в углу рта.

— Тогда нам не о чем больше говорить, Алла.

— Тем лучше, — по-прежнему устало и небрежно роняет Алла Семеновна.

— Тетя Алла, пирог остыл, может быть, все-таки скушаете кусочек? — спрашивает Наташа.

Она успела уже привыкнуть к постоянным спорам, возникающим решительно по любому поводу между матерью и ее подругой, и потому стремится по возможности обточить острые углы.

— У меня еще не было такого удачного пирога.

— Ладно, давай, — снисходительно, словно делает большое одолжение, отвечает Алла Семеновна, вгрызаясь

в теплое, воздушное тесто.— Действительно, пирог у тебя, Наташка, удался на славу!

— Это что, а как она делает заливное! — подхватывает Вероника Степановна.

— А то я не пробовала,— усмехается Алла Семеновна.

— Приходите в воскресенье, тетя Алла, я приготовлю заливное из хека, пальчики оближете,— говорит Наташа.

— Не отличишь от судака,— уверяет Вероника Степановна.

Мы переглядываемся с Наташей. Порядок. Мир, кажется, восстановлен.

Основательно закусив (два ломтя пирога, яичница с ветчиной, маринованные грибы), Алла Семеновна уходит. Она целуется с Вероникой Степановной, с Наташей, грозитя нагрязнать в воскресенье на заливную рыбу — она так любит покушать, недаром жалуется на одолевашую ее полноту. И меня тоже одаряет лучезарной улыбкой примадонны.

— Чао, девочки,— говорит Алла Семеновна и отбывает.

После ее ухода Вероника Степановна печально говорит:

— Что поделаешь? Я бы давно с нею порвала, но как подумаешь, что мы дружим уже целых четверть века!

— С чего это тебе нужно с нею рвать? — спрашивает Наташа.— Женщина как женщина, с обычными недостатками и достоинствами, к тому же артистка.

— А что, разве артистки чем-то отличаются от обычных людей? — спрашивает Вероника Степановна.

— А то нет? Сама знаешь, все вы какие-то такие...

— Какие же?

— Чокнутые, что ли...

Вероника Степановна укоризненно качает красиво причесанной головой:

— Эх, дочь, нет в тебе ни малейшего уважения к матери!

— Вот постареешь окончательно, тогда зауважаю,— отвечает Наташа.

Садится за стол между мной и матерью, пристально вглядывается в нее:

— Ты что, мать, наверно, плохо спала?

— Почему ты так спрашиваешь? — пугается Вероника Степановна. — У меня вид страшный? Мешки под глазами? Да?

— Нет, просто бледная.

— Бледная? Ну, это все в наших руках.

Вероника Степановна выходит из кухни и спустя минуты две появляется снова. Щеки ее цветут нежнейшим розовым румянцем, на веки положены голубые тени.

— Какова? Кто скажет, что у меня взрослая дочь?

— Никто, конечно, — отвечает Наташа. — Будешь молоко пить? Я вскипачу.

— Не хочется, — капризно тянет Вероника Степановна. — Надоело мне твое молоко!

Наташа между тем наливает в белую эмалированную кастрюльку молоко из пакета, ставит кастрюльку на огонь.

— А у кого связки то и дело садятся? У кого весной ангина была? Кто жаловался, что тонзиллит замучил?!

Наташа разговаривает с матерью, словно с маленькой, неразумной девочкой, мать не пытается спорить с нею, лишь досадливо поводит плечами.

— Ладно, хватит...

— Нет, не хватит.

Наташа наливает в стакан горячего молока.

— Чтоб все выпила, слышишь?

Вероника Степановна пьет молоко, страдальчески подняв брови, Наташа глядит на нее, опершись щекой о ладонь.

— Эх, мать, бросила бы свои глупости!

— Какие глупости? — спрашивает Вероника Степановна. — Ты о чем?

— Всякие. И зажила бы, как все нормальные люди.

— Что я должна сделать для этого?

— Прежде всего сойтись с папой.

— С кем? С папой? С твоим отцом?

Прекрасные глаза Вероники Степановны полны нескрываемого удивления.

— Да ты, дочь, в своем ли уме?

— Абсолютно в своем.

— Ты только погляди на нее, — обращается ко мне Вероника Степановна, — она хочет, чтобы я сошлась с ее отцом, с которым мы разошлись пятнадцать или шестнадцать лет назад! И где он, отец-то?



— Скоро приедет,— отвечает Наташа.— На той неделе я его жду.

— А он писал тебе?

— Само собой. Ты же знаешь, мы с ним переписываемся.

— Дурочка, у него же, наверно, давным-давно другая семья, он и думать о нас с тобой позабыл.

— Вот и неправда,— горячо возражает Наташа.— Очень даже думает. Он же мне вот такие письма пишет...

— Хорошо, о тебе он думает, а я-то при чем?

— По-моему, он и о тебе думает. В последнем письме пишет: «Как мама? Неужели еще не ушла на пенсию?»

— А вот и не ушла! — неожиданно взрывается Вероника Степановна.— И назло ему никогда не уйду!

— И не надо, пожалуйста, сделай одолжение, назло всему свету отморозь собственные уши,— спокойно отвечает Наташа.

Возбуждение Вероники Степановны внезапно гаснет, и она снова начинает, как бы отвечая самой себе:

— Нет, ничего у нас не получится, мы не можем спустя столько лет опять жить вместе. А если тебе скучно со мною вдвоем, заведи собаку.

— Собаку? — повторяет Наташа и оборачивается ко мне: — Когда я училась в третьем классе, мне очень хотелось иметь собаку, а мама говорила: «Подожди, когда перейдешь в четвертый класс». Потом я перешла в четвертый класс, у нас тогда жил дядя Сеня, он не выносил собак. Потом, уже в седьмом классе, когда дядя Сеня исчез, мама говорит: «Нельзя, в седьмом классе очень трудно учиться». А когда я стала десятиклассницей, то надо было готовиться в институт, не до собаки было.

— Теперь я хочу собаку,— говорит Вероника Степановна.

— А кто с ней гулять будет? Все на меня ляжет, мать, и кормить собаку, и гулять с нею, ты же вечно занята, то репетиции, то гастроли, то выездной спектакль.

— Я тебя клятвенно заверяю,— Вероника Степановна поднимает вверх правую руку,— буду гулять с собакой, только не с утра, а днем и вечером.

— Вот так,— Наташа насмешливо щурит глаза,— а если собаке необходимо погулять также и утром?

— Я не могу вставать чересчур рано.

— Хорошо, подождем, пока уйдешь на пенсию, тогда и возьмем собаку.

— А я не хочу на пенсию! — сердито возражает Вероника Степановна. — Если хочешь, можешь сама идти на пенсию.

Не выдержав, смеется от души. И мы с Наташей тоже смеемся.

— Что с ней поделаешь? — спрашивает Наташа, провожая меня до входной двери. — Большой ребенок, ты не находишь?

— Нахожу.

Почему-то так получается частенько, что самые наши задушевные разговоры происходят возле входной двери, когда мы прощаемся и все никак не можем расстаться.

— Вот еще одна забота, — говорит Наташа. — Чего-то она у меня расклеилась, горло барахлит, ноги болят...

— Пойди с ней к врачу.

— Попробуй уговори ее. Боится, что доктор уложит в постель, даст больничный, а она все храбрится, утверждает, что от нее бегут все болезни, как черт от лада.

Помедлив, Наташа говорит:

— Когда-нибудь, а все равно Серж ее выживет.

— Может быть, его сперва выживут?

— И так может случиться. Только все равно, придет новый главный, он ее тоже спровадит. Зачем она ему? Занята всего лишь в одном спектакле, новых ролей не предвидится. И потом, в самом деле, сколько можно? Она же не заслуженная, не народная, не любимица публики, — так, в общем-то, прокуковала всю жизнь на выходных...

Должно быть, в этот миг мы обе охвачены одним и тем же чувством — жалостью к Веронике Степановне; не самая веселая участь досталась ей на долю, чего уж тут веселого до старости оставаться маленькой актрисой на незаметных ролях?

А ведь тоже училась некогда в студии, играла в ученических спектаклях, волновалась, впервые выйдя на сцену, сама же рассказывала, что великая Яблочкина верила в ее звезду, а Михаил Михайлович Тарханов, тот прямо так и утверждал: «Ты, Вероничка, будешь замечательной артисткой. Помяни меня!»

И она помнила об этих словах, держала их в своем сердце, мечтала о большой сценической карьере, об успехе, о популярности у зрителей...

— Ты только не показывай виду, что тебе ее жаль,— тихо говорит Наташа.

— Ладно, не буду.

— Хорошо, если бы они с папой помирились,— продолжает Наташа,— а то правда, подумай сама, чего им жить одному, каждый у себя.

— У папы нет семьи?

— Была. Теперь опять он почему-то один.

— А он что, писал тебе о том, что опять один?

— Да нет, ничего он не писал, но я же умею между строчек все, что надо, прочитать. Достались же мне родители, что один, что другая, просто беда с ними!

Наташа шумно вздыхает и смеется; наверное, она нарочно смеется, чтобы я не вздумала пожалеть ее. А я и не собиралась ее жалеть.

Да она и не приняла бы от меня не то что жалости, а самого обыкновенного сочувствия.

Не знаю, сколько бы мы еще простояли в дверях, если бы не раздался голос Вероники Степановны:

— Наташенька, дочка, дай мне грелку, слышишь?

— Слышу,— отзывается Наташа.— Что, опять ноги болят?

— Не очень, но все-таки...

— Сейчас принесу.

Я бегу к себе по лестнице вверх. Наташа все еще медлит уйти, стоит в дверях, глядя мне вслед.

— Ей с ее больными ногами только собаки не хватает!

Я останавливаюсь, гляжу на Наташу сверху вниз.

— А с собакой ей веселее будет...

— Думаешь? — спрашивает Наташа. Задумчиво качает головой.— Неужели правда веселее?

Мне кажется, Наташа уже решила. Рано или поздно, а собаке суждено у них появиться...

## Брат и сестра

У таксиста Севы Сугробова случилось ЧП: потерял куклу, розовощекую, с глупыми выкаченными глазами в коричневых ресницах, кудрявую диву, которую обычно привязывал к бамперу машины.

Как развевались на ветру ее волосы! А щеки, казалось, ярче алели от быстрой езды. Протянутые вперед ручки как бы благословляли всех едущих навстречу.

Сева называл эту куклу нерусским, услышанным от кого-то словом «Маскотта», что означало, как он уверял, «счастливый талисман».

— Когда-нибудь моя маскотта принесет мне настоящее счастье, — уверял Сева.

Однажды его спросил начальник колонны таксомоторного парка, хмурый, немногословный толстяк:

— Что такое, по-твоему, счастье?

— Счастье — это осуществление всех, какие есть, желаний, — не задумываясь, ответил Сева.

Он не солгал: для него самым что ни на есть подлинным счастьем было бы осуществление всех его желаний.

Правда, некоторые желания время от времени менялись, но одно оставалось неизменным: чтобы Рена, сестра, поправилась.

Чтобы снова стала ходить, бегать, прыгать, не давать никому покоя, раздражать всех, вносить повсюду шум, беспорядок, пусть, пусть, лишь бы стала опять здоровой.

Рене было двенадцать лет, когда она заболела полиомиелитом. С той поры она постоянно сидела в кресле, потому что ходить Рена не могла. Так продолжалось уже почти шесть лет. К Рене приходили девочки из школы, учителя; сидя в кресле, она готовилась к экзаменам, учила математические правила, писала сочинения. Она была способной, окончила школу с отличием. Без каких бы то ни было поблажек, без скидок на болезнь, сдавала экзамены на равных со всеми и сдала. Ее аттестат — великолепная бумага, отливающие золотом буквы — висел на стене в их комнате.

Сева пришел домой расстроенный, однако решил ничего не говорить Рене, чтобы не огорчать ее. Но Рена,

умница, без слов все поняла. Только глянула на него и сразу спросила:

— Что случилось?

— Ничего,— весело ответил Сева.— Все нормально, о'кэй в полном смысле слова!

— Говори все,— строго приказала Рена.

Сева сказал:

— Потерялась кукла. Ну да, та самая...

— Как же это случилось? — спросила Рена. Ей тоже стало жаль глазастой красавицы, к которой Сева, должно быть, уже успел привыкнуть.

Куклу подарил Севе кубинец, который женился на русской девушке. Было это года два назад. Сева уже перешел в другой парк, стал ездить на «Волге» с золотыми кольцами, обслуживать новобрачных; однажды ему довелось везти смуглолицего, с горящими черными глазами кубинца во Дворец бракосочетаний, что на улице Щепкина. Темпераментный кубинец, сидевший рядом со своей белолицей невестой, кожа как сметана, глазки голубенькие, часто мигающие, то и дело целовал ее пухлые щеки, круглый, узенький лобик.

«И что только он в ней нашел? Ничего хорошего нет как нет,— думал Сева, искоса, в зеркальце, поглядывая на молодых.— Он в тысячу раз симпатичнее».

А когда вез кубинца с молодой женой из Дворца в ресторан «Будапешт», кубинец подарил ему куклу.

«На счастье,— сказал, немилосердно коверкая слова.— Будьте, как и я, счастливый».

— И куда только она подевалась? — спросил сам себя Сева.— Черт его знает, как получилось.

— Наверно, оторвалась,— заметила Рена.— Ты быстро ехал и не увидел, как оторвалась.

— Ладно,— сказал Сева, вздыхая.— Не будем больше об этом говорить.

— Тебе же должны выдать куклу в парке,— сказала Рена.— И очень хорошо, пусть будет новая кукла, эта, наверно, уже хорошенько поистрепалась от поездок.

Сева усмехнулся:

— Все-таки Крылов был великой человек!

— Какой Крылов? — не поняла Рена.

— Тот, кто писал басни. Помнишь лисицу и виноград?

И решительно повторил еще раз:

— Больше не будем об этом, поняла?

Они жили втроем в одной большой, с двумя окнами комнате — Сева, Рена и мать, Ирина Петровна. И еще лохматый чернопегий пес Цыган. Сева уверял, что Цыган — самая умная собака на свете. Рена тоже так считала.

Сева сшиб его однажды неподалеку от Покровского бульвара. Надо же было псу перебегать улицу в неположенном месте!

Сева не проехал мимо. Остановил машину, поднял с земли собаку. У нее была черная морда и неожиданно зеленые, словно крыжовник, глаза.

— Что там у тебя, пупсик? — спросил Сева.

У собаки была перебита передняя лапа. Сева взял собаку на руки, она не противилась, только глядела на Севу своими зелеными спокойными глазами.

— Ничего,— сказал Сева,— все будет нормально, даже, если хочешь, о'кэй.

Он привез собаку домой. Ирина Петровна закричала не помня себя:

— Не могу смотреть! Кровь из лапы капает...

Зато Рена, молодчина, не растерялась, прикрикнула на мать:

— Как тебе не стыдно, мама! Надо пожалеть несчастного пса, а ты кричишь как зарезанная!

Ирина Петровна мгновенно притихла, даже согласилась согреть воды. Сева хорошенько промыл лапу горячей водой, залил йодом. Вместе с Реной тщательно осмотрел лапу.

Оба установили: перелома нет.

— Если через день не будет лучше,— сказала Рена,— позовем ветеринара.

Через день стало лучше, а еще через три дня Цыган уже весело прыгал, встречая Севу, вернувшегося со смены.

Рена сказала:

— По-моему, это чудо ума и сообразительности.

— Я тоже так думаю,— согласился Сева.— Мы оставим его у нас.

— Оставим? — переспросила Ирина Петровна,— А как же соседи? Вдруг кто-то против?

— Пусть скажет об этом персонально мне,— ответил Сева.

— Но в коммунальных квартирах,— не сдавалась Ирина Петровна,— требуется общее согласие жильцов, если хочешь держать животных.

— Пусть скажут о своем несогласии лично мне,— снова повторил Сева.

Но никто не сказал ни одного слова против Цыгана, и он остался жить в семье на равных. Даже Ирина Петровна со временем полюбила его, а он больше всех любил только двоих — Севу и Рену, ко всем остальным людям относился равнодушно-терпимо,— дескать, существуете рядом, ну и существовайте, мне-то, в конце концов, все равно...

Ирина Петровна с некоторого времени стала уговаривать Севу:

— Женись! Сколько можно холостяком гулять? Скоро тридцать, а там уже и сороковка не за горами.

— А там и полсотни,— в тон ей говорил Сева.— И все сто недалеко...

Рена после упрекала мать:

— Зачем ты уговариваешь его жениться? А если он не хочет?

— Как это так — не хочет? — удивлялась мать.— Пора бы хотеть.

Она была не злой, но ума и такта ей явно не хватало.

Рена не любила с нею спорить: свои руки не подложишь, своего ума не добавишь, пусть ее думает как хочет.

Незадолго до Нового года Рена попросила мать пойти в ГУМ, купить для Севы куклу.

— Только чтобы была красивая,— попросила Рена.— Выбери самую красивую.

Ирина Петровна купила куклу на свой вкус — золотоволосую, с полуоткрытым ртом, глаза карие, ресницы лежат на щеках, белая шея с ямочкой посередине.

Сева сказал:

— Что за прелести!

Но Рене подумалось, что кукла ему не очень по душе, та, первая, нравилась куда больше. Просто, чтобы не огорчать ее, Рену, он хвалит эту куклу.

Впрочем, не в кукле счастье, совсем не в кукле...

Сева, как и многие таксисты, работал через день. Рена любила Севины выходные, когда они оставались вдвоем, друг с другом. Вернее, не вдвоем, а втроем — вместе с Цыганом; Ирина Петровна работала в фирме «Заря», с утра уходила ухаживать за больными.

И вот Сева с Реной одни, никто им не мешает, никому до них нет дела.

И тогда начиналась игра, та самая, о которой знали лишь они двое, и больше никто, увлекательная, обольстительная, одинаково отрадная для них обоих.

Он сажился возле ее кресла на низенькую скамеечку.

— Наука идет вперед огромными шагами,— говорил он.— В один прекрасный день мы тебе доставим такое лекарство, от которого ты встанешь и пойдешь на своих на двоих. Веришь?

— Верю,— говорила Рена.

— Вот тогда мы поедем с тобой вдвоем на моем мотоцикле, я впереди, за рулем, ты будешь сзади за меня руками держаться. Как, усидишь?

— Еще как!

— То-то! Теперь валяй, выбирай, куда поедем...

Каждый раз они выбирали различные маршруты. То решали поехать по Рязанщине, вдоволь надышаться ясным воздухом рязанских лугов и березовых рощ, то задумывали отправиться к Черному морю, или на озеро Байкал, или еще куда-нибудь...

Сева заливался соловьем, откуда только слова брались.

— Представь себе,— говорил,— сидишь ты сзади, у тебя за плечами рюкзак, у меня рюкзак, там всякие хурды-мурды, котелки, сковородки, спальные мешки, продукты, и мчимся мы с тобой вдоль берега Волги, только камешки встречные в лицо...

— А мы очки специальные наденем,— говорила Рена.

— Согласен, пусть очки. Ну так вот, едем мы с тобой, утро над Волгой...

— Солнце еще не встало...

— Да, конечно, еще рано, только-только ночь растаяла и роса кругом...

— Птицы спят...

— Нет уж, прости-подвинься, птицы не спят, они, милая моя, знаешь, когда просыпаются?



— Знаю,— вздыхала Рена, потому что обычно просыпалась на рассвете и лежала без сна, прислушиваясь к нарастающим звукам на улице.

Первыми начинали щебетать птицы, потом уже слышалось гудение мотора машины, завозившей хлеб в соседнюю булочную, потом принималась скрестить тротуар метла дворника.

— Так, значит,— продолжал Сева,— остановимся мы с тобой где-нибудь под деревом, глянем вокруг, а река розовая...

— От солнца?

— Конечно, от солнца. От чего же еще? И представь себе — по розовой реке белая баржа плывет, а на веревке белье матросское под солнцем сохнет, ветер треплет белье, а баржа все плывет себе да плывет...

Сева мог говорить часами, и Рена не уставала слушать его. И только тогда, когда приходила домой Ирина Петровна, Сева замолкал. Игра кончалась. Начинались обычные будни.

Ирина Петровна шумно шагала из комнаты в коридор и обратно, расставляла на столе чашки, вносила горячий чайник, жаловалась на несносных своих пациентов, включала телевизор, выбегала к коммунальному телефону, оттуда слышался зычный ее голос:

— Вы только послушайте, что я вам скажу...

Сева и Рена, усмехаясь, переглядывались, словно заговорщики.

— Ладно,— говорила Рена,— в следующий раз до скажешь.

— Послезавтра,— соглашался Сева.— А теперь пойду поброжу с Цыганом.

Прицеплял поводок к ошейнику Цыгана и уходил с ним побродить по окрестным переулкам — Скатертному, Столовому, Чашникову, Хлебному.

И Рена прислушивалась, когда снова хлопнет дверь и Сева с Цыганом вернутся домой.

Иной раз Рена расспрашивала Севу о свадьбах. В день он, случалось, возил пять, а то и семь-восемь брачующихся, из дома — во Дворец бракосочетаний, оттуда — обратно домой или в ресторан.

— Выкладывай,— командовала Рена.— Какая невеста была самая хорошенькая?

— Ни одной,— отвечал Сева.— Все мымры, как на подбор.

— Этого не может быть,— возражала Рена.— Хотя бы одна была ничего?

Однако Сева упрямо стоял на своем:

— Даю слово, одна хуже другой.

Конечно, то была чистой воды неправда. Попадались невесты до того красивые — обалдеть можно. Иные даже снились ему порой... Особенно одна грузинка, он запомнил ее имя — Элисо, имя это удивительно подходило к ней, вся золотисто-смуглая, каштановые волосы, огромные глаза, неожиданно синие, и такая тонкая в поясе, кажется, двумя пальцами схватишь...

Само собой, все невесты выглядели, в общем, неплохо, одеты к лицу, в белых платьях, ясное дело, волнуются и от этого кажутся еще симпатичнее.

Всё так, кто же спорит?

Но Рене он не хотел говорить. Ни за что! Талдычил свое:

«Одна невеста хуже другой».

Ведь какая бы Рена ни была терпеливая, независтливая, а и ей может стать обидно, ведь для нее все это навсегда недоступно: и белое платье, и свадебная машина, и жених рядом.

А Рена все равно не верила:

— Не может быть, чтобы все, как одна, уродки!

— Может,— настаивал Сева.— Глаза бы мои на них не глядели!

За два дня до Нового года Сева вернулся со смены, сказал, дую на красные ладони:

— Мороз нынче знаменитый, давненько такого не было.

Цыган подпрыгнул, положил обе лапы на Севины плечи.

— Все понятно,— сказал Сева.— А ну, давай свое ярмо...

Цыган ринулся в угол, где на гвоздике висел его поводок, сдернул поводок вниз и, держа его в зубах, снова подбежал к Севе.

— Приходи поскорей! — крикнула вслед Рена.

— Слушаюсь и повинуюсь! — ответил Сева.

Рена повернула свое кресло, глянула в окно. Кружи-

лись безостановочно снежинки, тяжелые декабрьские облака медленно проплывали в небе.

«Через два дня Новый год,— подумала Рена.— Самый веселый праздник».

Еще тогда, когда Рена была маленькая, любимой книгой был «Пиквикский клуб» Диккенса. По сей день она перечитывала описание святок и рождества в доме толстяка Уордля, друга мистера Пиквика. Как вкусно было читать про жаркий огонь в камине, в то время как за окном завывает вьюга и шумит ветер! Рена представляла себе ярко освещенный свечами зал, в ту пору же еще не было электричества, но герои Диккенса превосходно справлялись и без электричества, и вот зал, освещенный множеством свечей, под потолком пучки остролиста и омелы, кругом танцы, веселье, музыка...

Рена знала, новогодний праздник не пройдет мимо нее.

Она догадывалась, Сева уже припас елку, наверно, прячет ее у кого-то из соседей. Но она не спросит ни о чем, сделает вид, что не подозревает, существует ли вообще эта самая елка или нет. И еще наверняка ее ждет подарок от Севы, что-то, что должно ей понравиться.

А что может ей понравиться? В сущности, нет ничего, чего бы ей очень хотелось. Кроме, конечно, одного — опять стать здоровой! Совершенно здоровой! Только пусть Сева не знает об этом, пусть думает, что она беспечальна, неуязвима, что ей хотя бы в какой-то степени хорошо.

Впрочем, он этого не думает. Не может так думать. Разве он не понимает, что ей тяжело? Что она никогда не сумеет привыкнуть? Из года в год, изо дня в день сиднем сидеть в этом кресле на протяжении долгих лет, кто бы еще мог выдержать?

Правда, в детстве, лет примерно до двенадцати, она была такая же, как все, и у нее были точно такие же ноги, как у любой другой девочки.

До сих пор помнится: она бежит на лыжах в Измайлове. «Бежит», разумеется, громко сказано, просто идет по лыжне, проложенной Севой, а вот он бежал в самом деле, где-то далеко алела его вязаная шапка, потом повернул обратно, напрямик направился к ней.

«Как дела?» — спросил.

Рена не ответила, старательно нажимая на палки. Ветер шумел в ушах, снег падал на землю с неба. В небе летали птицы. Рена закинула голову, и Сева тоже посмотрел вверх.

Сколько лет прошло с того дня? Сто или тысяча? Или всего лишь один год? Не все ли равно? Иногда кажется, всего ничего, иногда — до ужаса много. Потому что уже никогда не повторится та чудесная, почти невесомая легкость, когда казалось все хорошо, она счастлива и так будет всегда, всегда...

Каждое утро она просыпалась тогда со счастливым предвкушением радости, которая неминуемо сбудется, которая никогда, никогда не иссякнет.

Не надо, чтобы Сева понял. При Севе надо улыбаться, острить, рассказывать смешные истории, быть готовой постоянно взорваться смехом и стараться смотреть ему в глаза веселыми, бездумно-счастливыми глазами.

А вот и Сева вместе с Цыганом.

Цыган, холодный, пахнувший свежестью снега, подбежал к Рене, раскрыв добрую горячую пасть, улыбнулся. Он умел улыбаться, этот удивительный пес, и даже, как уверял Сева, умел свободно вылаивать слова «Рена» и «Сева».

«Клянусь,— говорил Сева,— он эти слова классно вылаивает».

«Не клянись, я тебе верю,— отвечала Рена.— Я тоже сама слышала».

— Хорошо погуляли? — спросила Рена Цыгана.

Он положил лапу на ее колено.

— Верю,— сказала Рена.— Стало быть, хорошо? Вот и прекрасно.

— Страшно холодно,— промолвил Сева.— Просто ужас.

— У тебя лицо красное, как помидор,— заметила Рена.

Сева потер ладонью щеки, сперва одну, потом другую.

— Я же тебе говорю, что мороз жуткий.

— Мороз полезен для здоровья,— сказала Рена.— Во всяком случае, лучше, чем сытость и сырость.

— Все плохо,— сказал Сева.

— Начинаются рождественские морозы,— задумчиво произнесла Рена.

— Терпеть не могу морозы,— сказал Сева.

«Врешь,— мысленно ответила Рена.— Это ты нарочно для меня говоришь, а я знаю, что любишь».

— Где твои лыжи? — спросила она вслух.

Сева пренебрежительно пожал плечами:

— Не знаю. Где-то там, на антресолях.

— А ты любил раньше ходить на лыжах,— сказала Рена.

— Мало ли чего я любил, а вот теперь остыл на-чисто.

«Врешь,— снова возразила Рена.— Не может этого быть! Это ты из-за меня так говоришь, чтобы я не страдала, чтобы мне не было больно, потому что уж кто-то, а я о лыжах должна позабыть напрочь и навсегда».

— Помнишь,— спросила,— как это у Жуковского? Громким, четким голосом отчеканила:

Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали.  
За ворота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали.

— Разве это не Пушкин? — спросил Сева, засмеялся.— Ну прости, прости мое невежество!

— Прощаю,— сказала Рена.— У тебя зато есть много других очень даже приятных качеств.

— У меня плохая память,— признался Сева.— Что-нибудь прочитаю, тут же забуду, как не читал вовсе. У тебя ведь так не бывает, верно?

«Ну и что с того? — хотелось ответить Рене.— Я бы поменялась с тобою сию же минуту. Черт с ней, с моей хваленой памятью, пусть я ничего не помню, пусть буду забывать все, что бы ни прочитала, лишь бы ходить, бегать, прыгать вот так, как все остальные люди...»

— У меня, конечно, так не бывает,— сказала она.— Я так много помню, что, честное слово, сама удивляюсь, как это все помещается в одной моей голове!

Тряхнула волосами, темно-русые волосы падали на худенькие плечи, оттеняя впалые, почти прозрачные щеки.

«Лучше бы ты ничегошеньки не помнила, а была бы здоровой и сильной,— мысленно возразил Сева.— Чтобы никогда не сидела дома, бегала бы на свидания, красила глаза синей краской, канючила бы у меня модные сапоги

и колготки до самого горла и меняла бы хахалей одного за другим... Ах, как было бы хорошо!..»

— Симпатично у нас дома,— сказал он.— Ты не находишь? Тепло, уютно. Верно?

— Ничего,— ответила Рена.— Подходяще, в общем.

— Обедать будешь?

— Нет. Пока не хочу.

— Тогда, может быть, выпьешь чаю?

— Пожалуй.

— И я с тобой,— сказал Сева.— С мороза хорошо горячего чайку. Верно, Цыган?

Цыган стал исправно стучать хвостом по полу, а Сева вышел на кухню поставить чайник.

«Я мешаю ему.— Рена обернулась, на миг показалось, что она произнесла эти слова вслух и он их услышал.— Если бы не я, он бы давно устроил свою жизнь и у него была бы семья, были бы дети. И мама, я знаю, тоже так считает».

Сева принес из кухни чайник, расставил чашки, налил Рене чаю, подвинул блюдечко с халвой:

— Давай, сестренка, наваливайся.

— А ты?

— И я от тебя не отстану.

Рена отхлебнула из чашки. Сева умел заваривать чай, как никто другой. Когда к нему приставали, допытываясь, почему у него получается такой вкусный чай, Сева неизменно отвечал: «Есть один секрет. Надо сыпать побольше заварки...»

— Не знаю, что делать,— сказал Сева.— Сменщик заболел, придется работать каждый день.

— Почему ты не знаешь, что делать? — спросила Рена.

— Потому что не знаю, когда выберусь купить елку...

Рена постаралась принять самый невинный вид, будто бы ни о чем не догадывается, будто бы не знает, что елка давно уже привезена с елочного базара.

— Ну и пусть,— сказала,— обойдусь без елки. Не маленькая, в общем-то, достаточно взрослая.

Сева не согласился с нею.

— Что с того, что, в общем-то, взрослая? Это же традиция, даже Цыган признает эту традицию, и вообще елка в Новый год — самый лучший праздник.

— Да,— сказала Рена.— Я тоже больше всех праздников люблю Новый год.

— Только жаль, что я работаю в Новый год,— как бы между прочим проговорил Сева.— В этот самый день, можешь себе представить?

— Могу, хоть и удивляюсь,— сказала Рена.

«Это ты нарочно сам себе устроил, сам вызвался дежурить и кто-то вне себя от радости поменялся с тобой, и вот у тебя самый законный предлог не ходить ни в какие компании, кто бы ни пригласил тебя, и я знаю, что ты приедешь домой ночью, непременно приедешь, чтобы встретиться со мной и с мамой Новый год».

— Мне всегда везет,— сказал Сева.— Ну ничего, авось на май буду свободен, тогда, можешь не сомневаться, ни за что не соглашусь дежурить, ни за какие коврижки. Что, скажу, мало вам Нового года? Хотите еще и на май запрячь?

«Так я тебе и поверила,— возразила мысленно Рена.— Это ты специально для меня говоришь, чтобы я не думала, что ты из-за меня принес жертву...»

— Нет, видно, ничего не поделаешь,— сказал Сева.— Придется нам с Цыганом притащить кое-что из коридора.

Он кивнул Цыгану и вместе с ним вышел из комнаты. Спустя минуту вошел снова, держа обеими руками большую, перевязанную веревками елку, словно пику наперевес.

— Гляди и любуйся на красавицу Подмосковья...

— Действительно, красавица,— согласилась Рена.

«Разве я мог бы для тебя достать плохую елку!» Сева посмотрел на Рену, ему показалось, что нынче она бледнее обычного; впрочем, может быть, и в самом деле это ему только так кажется?

Цыган схватил ветку зубами, слабо взвизгнул.

— Что, укололся? — спросил Сева.— Не хватай, чего не положено! — Спросил, как бы вскользь, мимоходом глянув на Рену:— Ты как сегодня? Ничего? Чувствуешь себя, в общем, неплохо?

— Великолепно,— ответила Рена.— А что?

— Да так, ничего.

«Если бы ты и вправду чувствовала себя великолепно, не то было бы!»

Сева невольно вздохнул.

— А ты чего вздыхаешь? — спросила Рена.

— Будешь смеяться, опять вспомнил про эту самую кукляшку.

— Смеяться не буду, нашел о чем вспоминать...

— Да, конечно.

Сева проворно развязал веревки, поставил елку в угол, там уже со вчерашнего дня стояло ведро с песком, предусмотрительно покрытое дерюгой, чтобы Рена не догадалась, зачем здесь ведро.

— Будем обряжать? — Сева обернулся к Рене.

— Будем, — ответила Рена.

«Я знаю, что ты хочешь меня порадовать, ты хочешь видеть меня счастливой. Я буду веселой, счастливой, ты не бойся, я всегда буду при тебе веселой и счастливой».

— Где у нас лампочки? — спросила она.

— Здесь, на месте.

Сева снял с гардероба коробку с елочными украшениями и игрушками. Иным игрушкам было уже немало лет, почти столько же, сколько Рене. Например, Деду Морозу, одетому в малиновый суконный камзолчик, с белой заячьей шапкой на голове.

Сева поставил коробку Рене на колени, и Рена начала вынимать игрушки — стеклянные звезды, разноцветные шары, зайцев с длинными острыми ушами, золотой и серебряный «дождь», гирлянды разноцветных лампочек и наконец Деда Мороза в малиновом камзолчике.

Сева брал у Рены игрушки, вешал их на елочные ветви.

Пришлось немного повозиться с лампочками, почему-то не хотели гореть, потом сразу засияли зеленым, лиловым, розовым светом, словно бы перемигиваясь с густой зеленью ветвей.

— Здорово? — спросил Сева.

«Ты доволен больше, чем я, ты словно маленький, весь светишься от радости, и я тоже буду радоваться вместе с тобой».

— У меня самая лучшая елка на целом свете, — сказала Рена.

— Ну, — сказал Сева, предпочитавший во всем прежде всего правду и справедливость, — на целом свете, надо думать, найдутся еще лучшие елки.



— Нет,— упрямо настаивала Рена,— моя — самая лучшая!

«Какая же она еще маленькая! — с нежностью подумал Сева.— Совсем еще девчонка».

— Погоди,— сказал он.— Чуть не забыл...

Вынул из серванта пакет с мандаринами.

— Давай привязывай леску к мандаринам, а я буду вешать.

— Елка и мандарины — запах Нового года,— сказала Рена.

— И детства,— добавил Сева.— Может быть, ты не помнишь, а я помню, папа привозил елку из Волоколамска: специально ездил туда, в лес, и там выбирал самую что ни на есть раскрасавицу елку, и потом мы с ним начинали наряжать ее, а ты сидела рядом, на диване, и орала что есть сил; ты была ужасно крикливая, папа называл тебя «патефон». Помнишь?

— Конечно, помню. Я папу до сих пор очень хорошо помню.

— А я тем более.

— Сколько лет прошло? — спросила Рена.— Уже одиннадцать, правда?

— Да, двенадцатый год. Время-то бежит себе да бежит...

— Словно Цыган, когда его спускают с поводка.

— Сказала тоже! — усмехнулся Сева.

Услышав свое имя, Цыган подпрыгнул, лизнул Рену в нос.

— Цыган, цыц! — строго сказал Сева.— А ну, слышишь меня?

Цыган смиренно улегся возле его ног.

— А смешно, не правда ли? — Сева погладил Цыгана по теплой ушастой голове.— Цыган — цыц! Что, мальчик, дошло до тебя? А?

«Ты был бы замечательным отцом и мужем, таким же, каким был наш папа».

Рена смотрела на Севу, на его большую, сильную руку, упавшую на голову Цыгана.

«Ах, каким бы ты был замечательным отцом! И тебя, наверное, слушались бы твои дети, и слушались и любили бы...»

— Ну вот,— сказал Сева, когда уже все было готово,

елка наряжена, лампочки то вспыхивают, то гаснут.— А теперь давай поговорим по душам. Куда бы мы отправились с тобою, если бы мне дали отпуск зимой? Хотя бы завтра, прямо с завтрашнего дня...

— Надо подумать,— сказала Рена.— А куда бы хотел ты поехать?

— Сперва скажи, куда хотелось бы поехать тебе,— ответил Сева.— Кстати, как ты считаешь, а что, если я к мотоциклу привяжу эту новую куклу, которую купила мама?

— Что ж, будет совсем неплохо,— ответила Рена.— Получится свадебный мотоцикл.

— Кстати, кукла немного похожа на тебя,— сказал Сева.

Рена засмеялась. Совершенно искренне, от души.

— Если даже и похожа, то совсем, совсем немного. Она же красивая...

— Ты у меня тоже красивая,— сказал Сева.— Даже очень красивая, даю слово.

— Перестань,— остановила его Рена.

— Ладно. Стало быть так: куда мы решим поехать, если мне дадут отпуск, скажем, прямо с завтрашнего дня? Давай выбирай маршрут.

— Куда? — переспросила Рена.— Сейчас подумаю и скажу.

Ночью она неожиданно проснулась. Почудилось, будто бы кто-то громко позвал ее.

Она привстала на постели. Кругом было тихо, все спали, один лишь Цыган шумно вздыхал во сне, время от времени слегка повизгивая.

Что ему снилось? Может быть, очередная драка с соседним доbermanом, заклятым его врагом?

«А что снилось мне?» — подумала Рена.

Что-то яркое, необычное, как бы переливающееся красками. Но что же?

Есть старинная примета, которой научила покойная бабушка: коли желаешь вспомнить сон, никогда не проводи рукой по лбу — загонишь память в затылок и окончательно всё как есть позабудешь.

Рена не хотела касаться лба, и все же невольно провела рукой по лбу.

Всё. Теперь уже никогда не вспомнить. Почему это

всегда тянет совершить то, чего нельзя делать? Ведь не стоило касаться лба, а она коснулась.

И всё-таки Рена вспомнила свой сон. Вдруг, разом, уже и не ждала вовсе, все вспомнилось: синяя быстрая река, по реке плывет баржа, на веревке, протянутой над палубой, развеваются на ветру белые рубашки, майки, полотенца, простыни. От яркого солнца и рубашки и полотенца с простынями кажутся еще белее, как бы начисто выжжены солнечными лучами, а баржа всё плывет себе да плывет вдоль берегов, поросших колючим кустарником и высокими, густо зеленеющими деревьями...

Даже во сне Рена ощутила, что глазам больно глядеть на пестрое, ликующее многоцветье красок — голубое, просторное небо, синяя вода, жаркое солнце, зеленые кустарники и деревья, белое, сохнувшее на веревке.

И до того захотелось постоять на палубе, подставить лицо встречному ветру и солнцу...

«Будет ли так когда-нибудь?» — подумала Рена.

Закрела глаза, и снова почудилось на миг, будто река пахнула на нее свежестью, а яркое солнце неумолимо светит прямо в лицо.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРЕЧА . . . . .	3
ОТЧИМ © Издательство «Правда», «Юность» № 10, 1976 г. . . . .	10
ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ . . . . .	29
НОВЫЙ РАЙОН . . . . .	55
ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ . . . . .	78
СРОК ДАВНОСТИ . . . . .	101
ЗАБОТ ПОЛОН РОТ © Издательство «Советский писатель», сб. «Забот полон рот», 1978 г. . . . .	138
БРАТ И СЕСТРА . . . . .	159

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

*Людмила Захаровна Уварова*

**ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ**

*Рассказы*

ИБ № 4990

Ответственный редактор *Г. В. Быстрова*

Художественный редактор *С. И. Нижняя*

Технический редактор *Л. С. Степина*

Корректоры *Э. Н. Сизова*

*и Н. Г. Худякова*

Сдано в набор 13.08.80. Подписано к печати 12.03.81.  
А04082. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт  
литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,24. Усл.  
кр. отт. 9,87. Уч.-изд. л. 9,39. Тираж 75 000 экз. Заказ  
№ 2134. Цена 45 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Дет-  
ская литература» Государственного комитета РСФСР по  
делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Мо-  
сква, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового  
Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Рос-  
главполиграфпрома Государственного комитета РСФСР  
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.  
Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»



